

Александр Мищенко
Саваоф

Книга 1



Александр Мищенко

Саваоф. Книга 1

«Издательские решения»

Мищенко А.

Саваоф. Книга 1 / А. Мищенко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-832069-9

Роман «Спартак нашего времени» являет собой опыт реминисцентной прозы. Это роман об эпохе, о том, что Россия может «указать путь» миру, если станет страной востребованного интеллекта, когда открывают дорогу тем людям, которые способны видеть хоть немного вперед, как мыслил об этом Менделеев. Роман о сокровенно-личном, что пережито автором за 70 лет жития-бытия, о Сибири за фронтиром Урал-Камня, о России, о волновом Доме человечества. На обложке картина Симоне Мартини «Несение креста».

ISBN 978-5-44-832069-9

© Мищенко А.
© Издательские решения

Содержание

О труде в литературе и искусстве	6
Саваоф	17
Аннотация	17
Саваоф	19
Часть первая	19
Часть вторая	49
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Саваоф Книга 1

Александр Мищенко

Автор сердечно благодарен за помощь в издании книги главе администрации Казанского района Т. А. Богдановой и руководителю фирмы «Маяк»

В. Л. Тащланову.

© Александр Мищенко, 2016

ISBN 978-5-4483-2069-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

О труде в литературе и искусстве *В качестве манифеста*

Издal я книгу «Гаринский парень», главный персонаж ее предприниматель В. П. Федотов – трудогoльный герой нашего времени в моей версии. Но подобных в отечественной литературе не бывало ни до революции, ни после нее. Прозвучало, правда, в прессе недавно, что вышел в центральной России роман «Сперматозоид». Забегались с ним гламурные дамочки и тусовочные мужички из писательской среды. Не могу я понять «во глубине сибирских руд» подобного ажиотажа. А вот над этим стал кумекать: Мэр Лондона Борис Джонсон во время интервью на радиостанции LBC обозвал вице-премьера Великобритании Ника Клегга «презервативом», как пишет газета Guardian. Но это ж совсем другое дело, как сказали б в Одессе... Такие шли на встречу с Путиным, подленько оглядываясь, как бы их, вольных художников слова, не уличили в ренегатстве, в заигрывании с властями. Но что есть вольный художник, господа пишущие? Если говорить о себе лично, то я чувствую в себе пушкинскую волю творить. «Пока свободою горим...» Кредо проросло из всего пережитого мною (Все из себя): я пишу по велению сердца, а сердце мое принадлежит Родине... Не знаю, кому оно принадлежит у автора «Сперматозоида». Что не Родине – однозначно! И пока правят бал в литературе такие писатели, злобой дня будет дышать вскрик Н. А. Некрасова:

Когда же в книгах будем мы блистать
Всея русской мыслью, речью, даром...

Все начинается на земле с сева. Зерном моим, которым я заседал пространства своего романа «Дом под звездами», стали как раз огни св. Эльма, запечатленные в дневниках бессмертного путешествия Дарвина на корабле «Бигль». Не мог не начать я с «Моего Дарвина» и свое повествование. А что посеешь, то и пожнешь. Лукавые времена, когда много жнут и мало сеют, преходящи, вечны веки истинного сеятеля. А то ж зло одно с такой нивой. По притче Соломоновой: «Сеявай злая, пожнет злая». «А отчего?» – спросим себя и ответим: «Жатвы много, а делателей мало». Дефьсит в них и нужда непреходящи, как непреходяща жажда в пустыне, в какой водил соплеменников Моисей. Попомним из «Эклоги» Сумарокова: «Пшеница на овине без жатвы не дается». И вечен остается этот призыв: «Делатели, на жатву!» Сие есть жити, еже не себе жити токмо (Григорий Богослов).

Что же касается одного из таких делателей, «Героя нашего времени», то мне светила в исканиях эта мысль из проповеди «Перед пришествием»: «Кто сегодня ходит в наших кумирах? Кто герой нашего времени?.. Сегодня, когда нас окружают герои и дутые, и бутафорские, хочется перевести уставший от них взгляд на вещи реальные и истинные, которые есть высшая простота и ступень совершенства. На вершине и во главе пусть будут честность, искренность, понимание».

Если воспринимать героя модной книги чисто буквалистски и виртуально, то это вечный безвестник из копей любви. Хотя не возразишь против истины: трудоголик он выдающийся, пламенный и беззаветный. С фантастными энергиями и в жестокой конкуренции бьется за свой кус счастья. Другого героя, отвечающего чаяниям народа, ныне ну никак не найти... А определить, кстати, дарная книга или бездарная, не очень сложно. Я лично могу назвать собственными эти слова Станислава Лема: «Все-таки я ни в чём не уверен так безусловно, как в том, что могу отличить умницу от дурака, слепца от гения по нескольким взятым наудачу страницам. Это моя точка опоры...» Тыщу раз убеждался я в безусловной правоте великого фанта-

ста. Желтая пресса, к сожалению, гоняется за клубничкой в литературе и в жизни. Много чего можно найти в СМИ «под развесистыми сучьями столетней клюквы».

Это, может быть, субъективизм – вырвать из контекста современной литературы опус этот – «Сперматозоид». Но вот современные «Повести Белкина», представленные в Интернете «литературной блохой», а в прошлой жизни твёрдым троечником семидесятых, как он себя подает, Алексеем Решенковым, текст которого переправил мне по электронке друг мой, секретарь нашей тюменской писательской ячейки Леонид Иванов:

«Взяв сборник на подоконнике в святая-святых, храме культуры – Литературном институте им. Горького, рука тянется снять шляпу перед авторами его. Но, прочитав рассказ Олега Звонкова «Дар», как бы получаю первую пощечину. Очнись-очнись, я говорю себе. Ты в какое время живешь? Подумаешь, что здесь необычного, если автор рассказывает всем нам о своём даре видеть «пердаки». Идёт так Олег по улице со своей девушкой и вдруг видит нежный пук от милого создания. Я, как читатель, начинаю вглядываться в проходящих людей и хочу увидеть это явление, но с ужасом понимаю, что нет у меня такого таланта.

Сергей Куренёв порадовал меня. Здесь и образы, и ощущения – живо. Но вдруг пелена стала застилать мои глаза. Забилось бешено сердце, и капельки пота проступили на лбу.

«Пидорасы! Будут мне указывать, бл..дь. Пошли вы на х..й.»

Это что, влияние нашего времени? Отражение действительности? Или в этом и заключается смелость, нахальство, об отсутствии которого жалеет Нина Шурупова? Дальше, из уважения к своему личному ЭГО текст был пропущен.

Прочитав Кирилла Тахтамышева «Долгие долги», почему-то не уловил ощущений любви, интриги, трагедии. В памяти остались только следы вопиющей жестокости.

«Я бил и бил, месил его и месил, тащил его и тащил на себя..». Если цель писателя пробудить в своих читателях чувство жестокости, то Кириллу это удалось.

Доклад профессора Казначеева «Архызские суки», прочитал в подавленном состоянии и ничего не понял. Что хотел сказать автор, осталось для меня загадкой. А главное, больше половины текста можно было и вовсе сократить, а суть осталась бы неизменной. Такое впечатление, что автор, как бы прощаясь с миром, напоследок решил выложить на бумагу всё, что он когда-то узнал. Тут и Братья Гримм, и Киреевские. И Екатерина Дранная и Неежпапа Александр, и баклажанного цвета гениталии. Мне представился рядовой инженер, который, придя после работы домой, взял томик Сергея Казначеева и, прочитав страницу, заснул. И право, не мудрено. Такие предложения, как – «Сумрачно-малахитовые снизу, синевато-серые посредине и серо-белёсовые наверху горы вплотную обступили узкую, пологую долину, по дну которой стремительно и бурливо катились волны верхнего притока Кубани-речки Псыш.» – вызывают у меня зевоту. Это тяжелый случай. Полнейшее отсутствие чувства поэзии текста, музыки, звучания слов».

«Если литинститут пропагандирует ТАКУЮ литературу, то «дальше плыть некуда». Среди тюменской филологической профессуры тоже есмь приверженцы подобной писанины. Одна из членов жюри, Дверцова говорила про наши с Николаем Коняевым книги, что это «совок», что это вчерашний день литературы, что теперь никто так не пишет, что это, как сказали бы её студенты, полный отстой. Дверцова за литературу признаёт то, что пишут НОВЫЕ сочинители текстов типа Фигли-Мигли, этакой снобистки, презирающей всех и вся, кроме той части, которая сама провозгласила себя современной элитой общества. В одном из интервью эта Фигля-Мигля сказала, что бывшая когда-то хранителем духовности и моральных ценностей деревня давно вся спилась, деградировала, стала самой безнравственной и бездуховной частью современного общества. Зато они – эта современная белая кость – это носители нравственности и морали (примечание моё). И ладно бы профессура эта просто наслаждалась бы такого рода текстами, но ведь насаждает она свои приоритеты студентам. Тех же, кто пытается сохранять классический подход к своим произведениям, нарекают презрительными эпитетами, а их

прозу – отстоем, совком, деревенщиной. Хотя, наверняка должны помнить, что именно деревенщиками были Белов, Распутин, Абрамов, Лихоносов, считавшиеся в своё время классиками. В своё время, пока не пришло другое – возносящее на литературный (хоть и не подходит это слово) Олимп всевозможную дребедень типа «Цветочного креста» и ему подобных творений, получающих высшие литературные премии страны, ещё в недалёком прошлом дававшей миру действительно шедевры. Увы! Вы ещё полистайте «Московский Парнас». Тоже те ещё «шедевры», а почти под каждым стоит подпись «член СПР или МОСПР».

Самое страшное, на мой взгляд, что подобного рода деятели от культуры становятся чиновниками. И в результате молодые таланты попадают под их влияние, под их зависимость. А несогласные рискуют стать писателями, работающими в стол».

Тако высказался мой задушевный друг Леонид Иванов. И добавишь тут, что только суки и стервы вроде бы окружают нас в жизни, в постелях одних протекает жизнь и ради утех явлено в Мироздании «человеческое вещество». Так это прозвучало у Велимира Хлебникова: «Я вижу конские свободы И равноправие коров». Хотя высокий строй души человека возможен и в постельной жизни. Как же целомудренно это, когда один может сказать другому: «Хорошо, что вы существуете в мире». Целомудрие ж – явление глубоко личностное и, конечно же, сословное. Разное оно в крестьянском доме, в семье докторской или учительской и в королевском дворце. Знакомлюсь с одной цитацией, советом королевы Виктории дочери в ее брачную ночь. Источник дает его отсветом, строчкою дневника леди Хиллингтон. Ждет она суженого Чарльза в спальне. Запись в дневнике: «И когда я слышу его шаги у своей двери, я ложусь на кровать, закрываю глаза, раздвигаю ноги и думаю об Англии». А что в нашей уныло-бескрылой жизни? Можно стремиться обрюхатить массу девочек, плодя страдание. И таких удальцов немало сейчас. И в веках прошлых. Печорин оставлял за собой по жизни шлейф страдающих женщин, слез и горя. Так вездеход на гусеничном ходу, пересекая тундру, оставляет среди ее ягельников не заживающий многие годы шрам...

Вот взгляд нашего современника, Геннадия Гумилевского, сказанное им в Гайдпарке:

«Печорин никогда никого не любил и в этом он похож на Евгения Онегина.

В предисловии к роману „Герой нашего времени“ Лермонтов сообщает нам, что Печорин – „это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения“. И далее, в конце предисловия: *„болезнь указана, а как её излечить – это уж Бог знает!“*. **Здесь Лермонтов врёт нам самым бесстыдным образом. Дело всё в том, что все недостатки Печорина связаны с совершением им подлости. И виноват в этом только Печорин и больше никто и ничто. Каждый человек прекрасно знает, что лечение этой болезни заключается в том, чтобы не делать подлость для людей. Жить каждый день для себя, для своих удовольствий вот высший идеал и цель в жизни для Печорина. И в этом жизнь каждого эгоиста очень похожа на жизнь животных».**

Встретил такой образ у Жиля Делёза и Феликса Гваттари: некто вставил солнце в зад с мыслью дать свет жизни и получил солнечный анус. Такова вот «даль светлая». Как в книге «Кысь-брысь» нашумевшей столичной одной штучки-дрючки, которая «кысь-брыссица» живописует красивенький, как гриб, с пятнушками, хоть целуй его, мужской половой орган... Секса, вероятно, хочется, как кошке... Понадобилось ей для этого исколесить полпланеты, чтобы в элитных гостиничках суметь так излиться. Можно авторнице сослаться на классика, Курта Воннегута, заявившего устами героя в одной из книг, что народ обожает смотреть на две вещи – на то, как люди трахаются, и на то, как людей убивают... Во всей пафосной патриотической русской литературе нет героя-трудоголика. Весь школьный курс литературы – это панорама проходимцев, неудачников, адекватных пустому обществу, как лермонтовский Печорин, нигилистов, бухих запорожских гопников, пофигистов, убийц старушек, собачих садистов и убийц.

Прислушаемся к гайдпаркеру Андрею Кириллову, который как патриот и родитель озабочен падением уровня нашей педагогики, что опустилась до «ниже плитуса». В школьном

курсе литературы нет позитивного героя труда. Весь этот курс – какой-то набор русофоба. Причем Фурсенко к нему не имеет отношения. Этой шляпой нас потчуют уже больше ста лет. И какого на фиг позитива вы хотите от России, если в ней детей с младых лет пропитывают этим негативом и отрицаловом? Какого интеллекта и развития общества вы ждете, если школьный курс литературы гарантированно убивает в детях любовь к чтению под пафосные вопли о патриотизме? Откуда на фиг быть лучу света в этой беспросветной зопе, как сказал бы герой моей прозы байкальский рыбак с Ольхона Савва, Достоевщины?

Ладно, не будем говорить об учительной роли литературы, но поэзия пусть будет в ней, до озноба позвоночника чтоб волновала душу, как эта строка классика: «Я нашел тропинку всю жужжавшей запахом боярышника». Она – что лунный луч с заключенным в нем светом, который боязно и потревожить. А ведь жизнь – это мускульно-энергетическое повествование о том, «как рубанок сделал рубанок», «как печатали вашу книгу», как создают вещи столяр, часовщик, типограф, как сажают леса, как добывают нефть и плавят сталь, как пустыни превращают в оазисы цветения жизни. Ну, может ли быть подчеловек, всякое дрянцо, спившееся, обалдевшее от праздности и бездельничества, становиться идеалом молодости. А ведь этот мир и его обитатели – с краин жизни, из подвалов ее, где парторг даже один в социалистическую пору в Тюмени у нас гомосечил, утром на трибуне с зажигательной речью, вечером в том же доме, в лаборатории изыскательской облизывал молодяку-рабочему, сунув ему бутылку водки в расчет за услугу, то, что в иные моменты у мужика колом стоит. Они – нули натуральные в социально-историческом значении. Настоящим приговором звучали строки из предсмертных записок В. В. Розанова: «Мы в сущности играли в литературу». Литература русская не выучила и не внушала выучить, чтобы этот народ хотя б научился гвоздь выковывать *потрясающие кованые гвозди увидели мы с внуком Илюней в Больших Котах на Байкале на месте старой полуразрушенной драги, на какой добывали золото на реке Котинке*, серп исполнять, косу для косьбы сделать. Ну, любят. «Боже, но любить нужно в семье». Современные писатели, если говорить о них, погрязли в таких проблемах, что могут вызывать только мефистофельский смех». В числе «лидеров продаж» в книжных магазинах лакированный том Ю. Полякова – «Гипсовый трубоч» с его оргазмами и заоргазмьем, разными позами Казановы и сосцами неандерталки. Собачатся, волчатся писатели друг с другом. Но сколько можно пожирать один одного, отравляясь, как высокотоксичным ядом, завистью к успехам товарищей по литературному цеху. Некто возразить может: в природе создано так, что один другого кушает. На Дальнем Востоке моем родном, однако, известная там женщина завела ферму, где в дружбе и мире живут разные собаки, волк и лошадь. Никто никем не закусывает. Известно, что в цирке Дурова было среди других представление под названием «Нет больше врагов», во время которого кот и крысы ели из одной чашки. «Смотрите, как кот целуется с крысой! – обращался Дуров к публике. – Я таких непримиримых врагов, как кошка с крысой, примирил, а люди до сих пор помириться не могут». Всем можно жить по Закону мира в доме под звездами. В той же литературе все равно вместе трепыхаться нам как «литературному веществу» бытия нашего. Зачехлять надо кинжалы в ножны. А то носимся как оголтелые со своими правдами и правдёнками. Известно ж давно не Автором сказанное: «Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца». Ну, не вечная ж эта гражданская война в литературе! Сколько пребывать в дыму склок! Как наркоманы, ей-богу! Для времени Маяковского – ладно. Обстановка известная по подобию: танки грязи не боятся, и отринуть тогда надо «комнатную интимность Ахматовой, мистические стихотворения Вячеслава Иванова и его эллинистические мотивы – что они значат для суровой, железной нашей поры!» Может, и проникнется Поляков тем, что рак духовный в высшей степени его метастазности такие книги. Но ведь это и действительно так далеко от весьма дельного идеала, что прокламировал Максим Горький: «Цель литературы – помогать человеку понимать самого себя». В случае с «Гипсовым трубочем» Фантомас издал бы бессмертное свое сардоническое ха-ха. Биниалится с романом Поля-

кова как факт из мира кино на редкость бессодержательный, с малой толикой смысла фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Артисты, правда, хорошие задействованы, не фу-фу какое-нибудь. Но не вина их, а беда, что в пустой фильм вверглись. Истинно, природа отдыхает на детях гениев. Смотрел я его с натугой и вниманием одновременно. Ну, хоть что-нибудь бы пало на душу и сердце. Ничего ровным счетом. Ну, кувыркаются там броневишки люксовые, и что? Разве что чувство стыда и неловкости, что узрел я у кассиров и контролеров за то, что приходится потчевать им зрителей таким пустым фильмом. На телевидении тоже сплошной «бэзер». Возьму только второе полугодие 2009 года. Документное я лично стараюсь не упускать. Примерно раз, а то и два в неделю премьеры фильмов на телевидении, фильмы эти – мыло долгое и бесконечное. Было такое в войну – не мыло и не резина. Любовь всякого рода, боевики и прочая всячина. Если заняты люди на производстве, то речь о нем идет лишь в интервьюх жилищ. В старом фильме «Блондинка за углом» грузчик-астроном Андрей Миронов хоть в луке по шейку показан. Если рубит рубщик в магазине это мясо, то это мясо. Далее можно еще что-то приводить. Но тут же чисто коммунальная, киношная жизнь. За Уралом у нас остро чувствуется все это. Ибо здесь человек живет окруженный Сибирью, как сказал бы Андрей Платонов, окруженный бучей созидательного труда, что определяет жизнь того же «Тюменского меридиана». Но те же журналы подло увиливают от ЖИЗНИ. Почему? Какой-то ответ звучит в уведомлении мне по Фейсбуку, где приведено письмо одного из лучших поэтов России Юрия Казарина Владимиру Берязеву:

«Дорогой Володя, дружище!

Блин, я ничего не знал. Ясно, что твоё увольнение – это знак перерождения и превращения Сибогней в очередную ручную журналистскую проститутку, которая будет обслуживать низкие интересы власти. Журналов в России – раз, два и обчелся, а они, суки, сознательно сокращают число толстых журналов, т.к. боятся их. **Они боятся словесности, русской художественной нравственности, потому что нравственность современной России есть вольнодумство, свободомыслие, т.е. прямая опасность существования и процветания Соединенных Штатов Чиновников России. То же самое они делают и в гуманитарных сферах науки: филология уже растоптана.** (Выделение – А. М.).

Володя, друг, держись! Завтра свяжусь с нашими, подумаем, как можно вас поддержать. Обнимаю тебя и люблю.

Твой Юра Казарин».

В содержании любого труда глубже всего проглядывает человеческая сущность, ибо настоящая работа – всегда искание, а это коронное свойство «человеческого вещества». Живет не человек – деянье: Поступок ростом с шар земной (**Б. Пастернак**). И сказать потому можно о любом труде то же, что о святой байкальской воде: она «от раздумий прозрачна», как верит в это Поэт. У жены моей работы сейчас нет, хоть в конторе проектной она числится еще. Но говорит, что дома устает, что на работе лучше, тем более, что она ей нравится. Увидела по телевизору рекламу «Северстали», кадры производственные – обрадовалась, в какие-то веки свет жизни блеснул с экрана. С рекламы, но все ж. А так в киношках все – дома и в офисах, в диванных уютках коттеджей, где не удивляет сияние золотых унитазов в иных эксклюзивных жилищах. Неспроста ж и объявилась в нашем богоспасаемом граде «Диванная газета», которую выпускали два псевдонимных ортодокса Ион и Мэри. Могли бы они воскликнуть: «Твои прибрежные воды, читатель, в туалете!» Редактриса пыталась даже интервью у меня взять по телефону, но внятно не смогла объяснить, как это Марья кувыркнулась в Мэри. А потому я ей и отказал. Пока не поумнеет. Слава богу, что приказало долго жить изданице. Переналадка идет, наверное, на «Табуретки и кресла» наподобие «Рогов и копыт». Для эстетической публики подойдет. Сын мой Сергей любит Фазиля Искандера и называет публику подобного рода, танцую от интеллигенции, ясно же, – индургенцией. А и действительно, дури, дури и мути

эстетской и зауми у нее хоть отбавляй. Такое ощущение, что с мозгами у российского человечества в целом не в порядке, что купюрами подряд изъято у людей полжизни. Люди ж с купюрами в мозгах – это что-то страшное и несуразное. В массе своей они стали как бы инвалидами, существами, у которых вырезана часть мозга. Устроена как бы массовая виртуальная стрижка мозгового вещества людей, подобная той, какую устраивают стаду баранов. Это все равно, что поросенка стричь, как сказал бы Президент наш В. В. Путин: визгу много, шерсти мало... **Из искусства исчез человек труда**, и это, конечно же, не безобидное явление. **Искусство поглупело**. Причем, резко, обвально, если не сказать, катастрофно. Будто увлекло его в торсионный смерч патологии, вопреки всем законам природы. Один знакомый мой работяга сказал об этом грубо, но точно, что же происходит на художественном экране. Это е... с пляской. Кучумба. Триумф, так сказать, меркантилизма. Наваждение какое-то. Пригожинская стрела времени стремится его туда, куда и стремиться должно – к цветению сложности, а ее будто Воланд оседлал, как гоголевский кузнец Вакула черта. Так мчат жизнь кони ее, что развеваются лишь полы черного, траурного, так скажем даже, плаща Воланда. Будто к Апокалипсису устремляет он «человеческое вещество». Не удивительно, что идеалы, той же молодежи, исключительно примитивны и бескрылы. Уходя от главного в жизни каждого – труда, мы расчеловечиваем человека. Происходит то, что происходит. Станислав Лем уже заострял на это внимание человечества, проблема, однако, все более обостряется, в России, по крайней мере: секс и деньги, побратавшись, становятся отлично подделанным раем бренности. «Но человек же не животное, которому в голову пришла мысль о культуризации, – писал обеспокоенный проблемой Станислав Лем. – Он не битва импульсивного „старого мозга“ с молодой корою серого вещества, как это думает Артур Кёстлер. И он не „голая обезьяна“ с большим мозгом (Десмонд Моррис), поскольку он не животное с добавлением чего-то. Совсем наоборот. Как животное человек несовершенен. Сущность человека – культура...» Только в труде, творчестве происходит самореализация человека, и можно сказать, состоялся он или нет. Мы ж поменяли местами первое в жизни человека и второе. Это все равно, что рокировать передовую в тыл, а тыл в передовую, или ставить лошадь сзади телеги. И что получается у нас? Как ни ищут себя в искусстве творцы, а все пушки к бою едут задом. Что для Феллини было главное? Макароны и фантазии. Это ведь образно: тылы домашние, где отдыхают победные силы человека, и творческие искания великого мастера в кино. У нас же в искусстве получается, как правило, по Черномырдину: хотим как лучше, а получается, как всегда. Возьмем девушек и женщин. Первое ж, как и у мужчин – самореализация личности. Но у многих в идеале – хавира клёвая, машина – иномарка и деньги, много, много денег. А потом страсти-мордасти и слезы по потерянной молодости... Начиналось же с с расчета, с цифры, с денег. Сказал о них Поэт:

Евро, «баксы», марки, тугрики,
 Фунты, песо, шиллинги да рублики —
 Самые священные слова —
 От нулей кружится голова!

Возьмем те же телесериалы, которыми канифолят мозги нам «ящик» с утра до вечера, всенощно, по всем каналам. Понимал бы я такое искусство, если бы хоть звучало оно в интерьере Отечества, Родины. По разному можно относиться к Наполеону, но нельзя не отдать должное мысли этого великого француза, который заявил: «Любовь к Родине – первое достоинство цивилизованного человека». Но – на экране декорации салонов, офисов, квартир, неких передвижений в социальном пространстве. Пространств Родины нету, а она у нас «до самых до окраин». Профессии означены. Представлены мещанские междусобойные уголки, и изводят там артисты мыло профессии на придуманную, киношную жизнь. Мозги нам мылят. Завтра будет любовь. Призвучивается из другого «мыла» – Она: в одном бульоне, Он: в одном

батальоне. А к Отчизне когда, без бульонов и батальонов, к Родине? Послезавтра? Да посели этот народец на любую планету, на любую звезду, все та же мыловарня будет – ни планеты, ни родины, ни звезды, действо в интерьере декораций хоть и звездных. Искусство без родины. На сцене – космополиты, люди без родины, все равно, любишь ли ты Маню, Таню или Элеонору. Вне Родины эта любовь. Вовсе не космолюдины на экране. Это пинать их многие горазды. Но если сердце у человека болит о Родине, то оно болит. Возьмем тот же сакраментальный вопрос: Вилли Токарев и любовь к Родине. Да у Вилли ее изобилие, если говорить о нем. И созвучно этому своему куплету мог бы обратиться известный певец-космолюдин к космополитам отечественного телеэкрана:

Эй, новый русский, давай, давай
Россию-маму не продавай
Россия-мама, у нас одна,
Бокалы выпьем давай до дна.

И добавил бы еще Вилли: «Эх, хвост, чешуя, непонятно ничего». Понятны ли вам будут, граждане читатели, передачи по телевидению о том, как попса зарабатывает миллионы, как справляют свадьбы собакам, покупают им драгоценности? Инвалиду второй группы из Светлограда Раисе Стефановне Семеновой, которая написала об этой своей озадаченности в «Деловой вторник», не понятно. Как и Автору. И действительно, как спрашивает она, где главные герои страны – доярка, инженер, токарь, ученый? Получается, что простой трудовой народ – это люди второго сорта? Что первого сорта – денежные мешки, справляющие свадьбы собачкам, да? А миллионы бабуль и дедуль в Отечестве кумекают, как разбавить свою нужду пенсионерскими копейками. Этим же нуворишам свадьбы собачие подавай. Сю-сю-сю, моя сучечка ненаглядная, сю-сю-сю, кобелек мой бралиантовый. Счастья, радости и благоденствия, наши дорогие, и много-много собачат. Горько!!! Ну да. Деньги не пахнут. Но крылато и другое: не в деньгах счастье. Канары лишь – модная экзотика. Писал А. П. Чехов в записной книжке: «Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья; если же оно проистекает не отсюда, а из теоретических или иных соображений, то оно не то». Я считаю, что обделен Всевышним тот, кто на Байкале не побывал, да так еще, чтобы воспринять это чудо света как божественный подарок человечеству. И «мерс» еще пресловутый. Ну, хорошая машина, лучше «Волги», которая лишние нагрузки создает мозгу и телу водилы, но и «Мерседес» первого поколения был, как известно, тележкой (призвучивается: телегой) с отпиленным дышлом и помимо того двигался по-черепаши, если судить по-современному. А жизнь – она всегда прекрасна. У нее дышло не отпилишь. Тут же имитация жизни. О дышле даже и речи нету...

Ещё о литературе. Злободневен и сегодня Писарев («Реалисты»): «Слабые, дряхлые, бесцветные и бездарные писатели подчиняют свою деятельность прихотям общественного вкуса и капризам умственной моды». Заданно направлена она на это у них, по лекалу логического порядочка, какой, к сожалению, является главным признаком бездарности и непонимания, как мыслил это Михаил Пришвин. Но писатели, сильные талантом, знанием и любовью к идее, идут своей дорогой, не обращая никакого внимания на мимолетные фантазии общества». Вторит Писареву Л. Н. Толстой (в письме Софье, 28 янв. 1894 г.): «Надо каждому идти своим особенным и всегда новым путем». А по большому счету, подумал я, что вышние силы будто экзамен устроили человечеству, и всяк землянин мог бы сейчас помыслить, как исполниться духа и мужества, чтобы стать героем нашего времени каждому на орбите собственной своей судьбы, а не ввергаться в карусель потребиловки. А это может происходить тогда, когда атмосферы нашего бытия наэлектризованы духом искания и созидания, как это было на тюменской земле в пик освоения ее несметных природных богатств, когда ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ, как именовал его Станислав Лем, был живым, он безостановочно ширился, перемены жили за каждым углом. Помню обаятельную Светлану из палаточного городка на стройке, где забили первый колышек Ноябрьска. Рассказала она мне и друзьям своим, что сон чудный ночью видела. Будто стояла на берегу речки и мечтала о любимом. «А «принц» и правда стоял за сосной и ждал меня!» Я написал в газете о Светлане и ее бригаде. Держал с ней связь. И сон-то в руку оказался. Вскоре пригласила меня Светлана на комсомольско-молодежную свадьбу. Сколько их было на тюменской земле! Здесь и в личном и в большом общем горизонт, за которым находилось все, чего цивилизация не знает и о чем даже не догадывается ее наука, лучился неведомым, которое волновало души первопроходцев. Атмосферы жизни пролучивали их души, вселяя надежды на новое и необыкновенное, не известное людьми ранее. Подумать мы не могли о корыте потребилочки в вихрях искательной, созидательно-творческой жизни. Она поднимала нас над бытовщиной и делала крылатыми. Будущее каждодневно вливалось в реальное людское бытие. По себе помню, как влекла на Север меня и моих единомышленников палаточная романтика, звучала в сознании мелодия песни о том, что «Ты улетающий вдаль самолет В сердце своем сбереги», а теплые туалеты считались мешчанской потребностью, как грели сердца наши огоньки в домах в полунощную пору. Там бились сердца наших единомышленников. Помню, как приехал из Питера ко мне начинающий писатель Герман Балуев. Как в полночь устремился на такси с аэропорта, мысленно видя огонек на кухне моей квартиры-однушки, где я до утра, бывало, вдохновенно работал над очерками с Северов, с передовой нашей жизни. Впервые открывал для себя наш доблестный кипящий край ставший мне другом гость из Ленинграда. С восторгом описывал он потом в своих репортажах с Тюменского меридиана радушие и тепло, в какие попал после ледяных атмосфер морозной Тюмени, как побулькивал, вскипая чайник, а струя пара из него колыхала висящие над моим письменным столом на кухне пеленки и распашонки нашего с Ниной первенца Сережи. Писатель с Невы ж всеми фибрами своей души воспринимал сбивчивый взволнованный мой рассказ о романтике таежной жизни той поры, когда изыскивал я с друзьями самый северный в ту пору в стране газопровод Игрим-Серов, как трудились на трассах газопроводов, на буровых и стройках новых, «голубых» городов, «у которых названия нет», что людям снились, те, кого я назову позже радужным человеческим веществом, а именно оно питало энергией исканий сиятельные горизонты «столицы деревень» некогда Тюмени, что стала известной после Березовской буровой, где рванул газ, на весь мир.

Жиль Делёз и Феликс Гваттари выразили свою позицию без обиняков, как я перевел ее на свою мову: желание – это фашизм, который заставляет нас любить власть, желать именно то, что господствует над нами как биологическое начало и эксплуатирует нас. «Я люблю все то, что течет, даже менструальный поток, который уносит неоплодотворенные яйца... И мои внутренности разливаются как огромный шизофренический поток, истечение, которое оставляет меня лицом к лицу с абсолютом...» (**Генри Миллер. Тропик Рака**). Альтернатива шизофреническому такому потоку – семья, место, где отдыхают победные силы человека, как глубоко посудил некогда великий Антон Макаренко. И пел Николай Крючков с друзьями в кинофильме ранних лет нашей социалистической Родины неспроста:

Первым делом, первым делом самолеты,
Ну, а девушки, а девушки потом...

Литература ж наша и искусство в целом представляют ныне тотальный проштык мимо жизни. И это правда, а она тяжелее гор кавказских, как сказал бы мудрец-самородок Григорий Сковорода, который восклицал будто бы по поводу праздных наших дней: «Так только ли разве всего дела для человека: продавать, покупать, жениться, посягать, воевать, портняжить, строиться, ловить зверя? Здесь ли наше сердце неисходно всегда? Так вот же сейчас видна

причина нашей бедности: погрузив все сердце наше в приобретение и в море телесных надобностей, мы не имеем времени вникнуть внутрь себя, очистить и поврачевать самую госпожу тыла нашего – душу нашу...

Не всем ли мы изобильны? Точно, всем и всяким добром телесным; одной только души нашей не имеем. Есть, правда, в нас и душа, но такова, как у шкробутика или подагрика ноги, она в нас расслаблена, грустна, своенравна, боязлива, завистлива, жадна, ничем не довольна, сама на себя гневна, тощая, бледная, точно пациент из лазарета, каковых часто живых погребают по указу. Такая душа если в бархат оделась, не гроб ли ей бархат? Если в светлых чертогах пирует, не ад ли ей?»

Н. В. Гоголь считал, что искусство должно вселять в душу стройность и порядок, а не смущения и расстройства: «Скорбью ангела загорится наша поэзия... ударившая по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке». Какую святыню внесут в человечесьи души «Сперматозоид», постельные страсти-мордасти? Тут случилось как с Плейшнером из «Семнадцати мгновений весны», воздух свободы сыграл с которым злую шутку...

Серьезной литературе, черноземным, как я их называю, фундаментальным писателям потребна ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА. А где она? И что в итоге такой политики государства мы имеем? Скажу лично о себе. Намучился я с поиском денег на издание своих последних романов. Роман-эпопея на 2000 страниц «Байкал: новое измерение». В скобках: новое измерение нашей жизни, Человека, Мироздания. Ясно стало, что живу в жлобской стране. Открылось: чем больше в стране богатых людей, тем больше становится в ней жадных. О жлобизме говорят и люди с прямолобными, как ствол тагильского танка, суждениями и мнениями. В корень глянул тут Евгений Евтушенко:

Есть прямота,
как будто кривота.
Она внутри самой себя горбата.

Пустое ж искусство, бездельное, как можем мы назвать его, – это и пустые, пластмассовые слова. Берешь в руки лакирушку, и глаз скользит без зацепов, намыленно. Оглянувшись окрест по-радищевски, не мог я не раздуматься о чудных публикациях в местной прессе. Сосуществовали в газете рядышком два рассказика о девочках с именем Россия. Сначала о первой. Не без умысла и назвали родители так свое чадо. Желая счастья дочке, желали его России. Был такой случай. Подружка одна окликивает девочку: «Роса, Роса!» Та не слышит. Тогда она кричит ей: «Эй, страна!» Роса обернулась. А вот эпизод со второй девочкой. Мать ласкает свое дитя и приговаривает: «Россиюшка, моя милая...» Ничего больше говорить не буду. Читателю, по моему, ясно: человек растет из Слова... Какое ж оно в писательстве нашем? Пишут ведь канонадными залпами со всем писательским вдохновением о всякой чернухе, которая была до революции, после нее и, благополучно пережив угар социализма, вошла в век XXI. Реалии же нашей жизни более чем серьезные. Мы отхаркиваемся от дыма Перестройки, что скособочила мозги народные, свела жизнь в нулевые горизонты расчетно-вычислительных тел и духо-движений, когда рубль ум застит, как дым. Погрязли в содоме-грязи оголтелого меркантилизма. И пусть нам поможет разобраться в такой нынешней обстановке классик, Федор Михайлович Достоевский, который тоже знавал залпы вдохновения, но остальное все, как пишет он, «претяжелая работа». Отчего и почему? Послушаем его вновь: «Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся сделать из нее роман, потому что мысль слишком трудная, хотя мысль вполне соблазнительная и я люблю ее. Идея эта – ИЗОБРАЗИТЬ ВПОЛНЕ ПРЕКРАСНОГО ЧЕЛОВЕКА. Труднее этого, по моему, быть ничего не может – поверим классику! – в наше время особенно». Да-да, явить читателю, общественности если не героя нашего вре-

мени, то образец, достойный подражания. Где он духоподъемный Павка Корчагин XXI века *а не пустозвоновы, поджербчиковы, жаднюковы*? Бумбараш-Золотухин умирает. Доренко – не герой. Что сложности у него, так это жизнь: «Все эти добрые люди массово залезли мне в живот и сильно там ковыряют железными шутовинами, – сообщил Доренко. – Кажись, я сложный случай»... Это с телеведущим таковой. В литературе отечественной – тоже... Хоть балагурь по «Карнавальная ночи»:

– *Заслушаем клоунов.*

– *Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок...*

– *Костюмы надо заменить, ноги изолировать.*

– *Я и сам шутить не люблю, и людям не дам.*

– *За все, что здесь сегодня было, лично я никакой ответственности не несу!*

А если не ерничать и не балагурить? Чернуха беспросветная. Подвальная жизнь Отечества. Крысиные когти хапуг. В Интернет глянешь – что ни день, то новые хищения, на миллионы и миллиарды. Крысня будто из подвалов полезла.

Жизнь кипит там, где она являет всепреодолевающий ТРУД. А где он, шапкой невидимкой укрылся? Но ведь все нормальные люди трудятся – торгуют, пекут, варят, строят, шьют, кроют, строят, бетонируют, асфальтируют, копают, возводят, проектируют, конструируют, бурят, точат, монтируют, осваивают новые методы, технологии, машины и устройства, прокладывают трассы, шлифуют, строгают, стеклят, лудят, серебрят, ремонтируют, стирают, стригут, пимокатничают, формуют, огораживают, несут государеву службу в структурах власти, управляют энергостанциями, самолетами, ракетами, морскими и речными и сухопутными транспортом, снимают показания приборов, работают на компьютерах, ведают охотничьими, рыбными и растительными ресурсами, отчаливают, причаливают, чертят, рисуют, гасят, разогревают, тушат пожары, поливают, пилят, режут, репетируют, вяжут, клеют, сортируют, грузят, трассируют, изыскивают, фотографируют, кадрируют, интерпретируют, инъецируют, микроскопируют препараты в лабораториях, изучают Землю и звезды с хуторков космостанций, всматриваются в глубины морей и океанов из батискафов, напрягают педагогический ум в детсадах, школах и вузах, живописуют, лепят, вымеряют, выдергивают, ввинчивают, вывинчивают, откручивают, прикручивают, реферировать, ассистируют, красят, белят, лечат, выступают с речами, читают лекции, музицируют, варят сталь, пашут, корчуют, пасут, сеют, копнят, рыбачат, охотятся, занимаются ратным трудом или защищают Родину (есть такая профессия), аблактуют, если хотите, и прочее. А счастье – это сеять хлеб... В нашем «домашнем» продуктовом магазине «Байкал» хозяйничает чудесная женщина Надежда Федоровна. Торгует она. По две-три смены иногда за прилавком. Недавно приступ случился у ней, закрыла магазин на двадцать минут, лекарства приняла, отдышалась, и вновь она в строю. Внимательная, как всегда и отзывчивая. Как отзывчивы в Собесе Ольга Николаевна и Татьяна Анатольевна, определявшие меня на лечение в санаторий «Красная гвоздика», где меня опекала чудесная докторица Олеся. Вообще это проблема в Отечестве – отзывчивость и душевность. Помню военный и послевоенный Хабаровск моего детства, улицу Черноморскую, многодетные, как наша, семьи, участие в жизни друг друга, когда и подкормят мальчика и приласкают. Массово было это. Сейчас рубль, корысть разъединяют людей. Продавщица в магазине – бревно стоячее, и это не редкость. Не буду растекашиться белкой по дереву (древнее речение, изначально мысли). И что из того, что частный магазин, если говорить о Надежде Федоровне? Людей обслуживает. И любой труд важен и почтен. **А на производстве, между прочим, проходит у многих лучшая часть жизни.** Другая продавщица, Наталья в хлебном магазине, обаятельнейшая женщина. Платят ей немного. Как-то сказал ей, что недалеко тут требуется киоскер газеты продавать, зарплата, мол, выше твоей почти в два раза. Наотрез отказалась девонька, заявив:

– В камеру-одиночку идти? Ни в какую. Я здесь с ЛЮДЬМИ работаю, в коллективе, мне это интересно...

Так есть, так и было ране, если устремлять мысленный взор в седую древность до царя Гороха и царицы Морковки.

Работники по «Актам писцового дела ХУ1» века – работные люди, это – варнишники (солевары), вервщики (мерщики), водолии, гладильщики, дровосеки, истопники, лесники, носники (вероятно, носильщики или грузчики), пастухи, перевозчики, песочники, повара, прудники мельничные, псари, садовники, сенокосцы, сидельцы (торгующие по доверенности купца на выносе, наподобие наших лотошников или продавцов в «комках»), сторожа лавочные, чумаки (кабачники). Почему чумаки? Оттого, наверное, что народ зачумляют... В будущих десятилетиях нового века появятся, может специалисты, которые вразумляют. А что? Жизнь не стоит на месте...

Работа вживляет тебя в мир, как сказал бы мудрый романтик нашего звездного мира Антуан де Сент-Экзюпери, заявлявший в «Планете людей», что величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих людей в радужное, по мове Автора, «человеческое вещество» и что есть только одна подлинная ценность – это связь человека с человеком. Да-да, продолжим мы мысль Экзюпери, каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с человеком. Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает и смысл смерти. Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться. А ведь труд дает смысл жизни всему человечеству. Глубоко вникнув в содержательную сторону народного труда, Василий Белов писал в книге «Лад»:

«Работать красиво не только легче, но и приятнее. Талант и труд неразрывны. Тяжесть труда непреодолима для бездарного труженика, она легко порождает отвращение к труду...»

Истинная красота и польза также взаимосвязаны: кто умеет красиво косить, само собой, накосит больше и лучше, причем вовсе не в погоне за длинным рублём...»

Не удивительно, что при полном доступе ныне к любой книге тишина в отношении них в обществе явная. Характерна грустная констатация одним читателем такого факта: «Прошло 23 года новой России. Сейчас у нас полная свобода! Нет препятствий к публикации любого сочинения! Но нет ни одного автора, книги которого бы невозможно было бы получить в библиотеках. Нет и ни одного писателя, книги которого обсуждало бы общество. Так, ленивая перебранка. Нет властителей дум. Печально». Отчего все это? Оттого токмо, что в проштыке от жизни, от труда людского и серьезных забот человеческих современная литература. Но ведь искусство это – ДОЛГ! Долг художника перед собой и перед страной.

АЛЕКСАНДР МИЩЕНКО

*Лауреат Всероссийской литературной премии имени Мамина-Сибиряка
и премии чародея сибирского сказа Ивана Ермакова.*

ДЛЯ ПИСЕМ И ОТЗЫВОВ:

МИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: a_mishchenko@mail.ru

Саваоф
Книга-анонс
(Повести, рассказы, фрагменты – извлечения
из романа «Спартак нашего времени»)
Опыт реминисцентной прозы

Посвящаяю памяти друга-сокровенника поэта Олега Дребезгова.

Аннотация

«Спартак нашего времени» – новаторский по форме и содержанию роман лауреата Всероссийской литературной премии Д. Н. Мамина-Сибиряка Александра Мищенко. В предлагаемом вниманию читателей романе, что прородился у писателя из романа-матки «Дом под звездами» (пока он живет в недрах его компьютера), раскрывается широкая панорама всечеловеческой им. жизни. Это роман об эпохе, а говоря определенной, о человеке в «интерьере эпохи». Он вобрал в себя полную драматизма жизнь и работу тюменских буровиков, особенно в пиковый тот момент, когда на Самотлоре стали бороться за проходку 100 тысяч метров на бригаду в год. Повествование романа максимально приближено к реальной жизни, тому ее аскетичному укладу, что складывался на мирных фронтах бурения. Уместно оно эпохе и уместному в ней Автору, который сам тогда работал там помощником бурильщика. Широкому кругу читателей, на которых рассчитана книга, представляется возможность увидеть то время, что называется, изнутри, осознать, насколько – без высоких слов – героичным было и остается освоение подземных кладовых Западной Сибири, что спекулирование на энтузиазме народа всегда преступно, что Россия может «указать путь» миру, если станет, наконец, страной востребованного интеллекта, когда открывают дорогу тем, людям, которые способны видеть хоть немного вперед, как мыслил об этом мой земляк Дмитрий Менделеев. Повествование являет собою роман-анонс эпического романа-исследования Автора «Дом под звездами или герой нашего времени». Назовем этого героя сегодня, речь идет об известном тюменском предпринимателе Василие Петровиче Федотове, **парень из Гарей** или «гаринский парень» из-под Ирбита – основатель фирмы «ТОИР» по производству мобильных домов и туалетных комплексов, которой исполнилось двадцать лет. Сейчас Автор завершает многолетнюю работу над ним. Писательская энергия его излилась еще в русло романа «Байкал: новое измерение», в последнюю как бы главу «Спартака...». Он уже сверстан в издательстве...

Предлагаемая вниманию читателей книга двухуровневая или двухсюжетная. То, что можно отнести к чисто художественным пластам – роман в романе. Подобно построение книги не ново (прекрасный аналог этому «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова). Но тут у Автора своя собственная, самородная содержательность, и на этот счет можно сказать, что третьим сюжетом проходят творческие искания и судьба самого писателя. А первые два сюжета – судьба бурового мастера Бориса Давыдова и судьбы поэта-охотника ненца Неро Айваседо и лося-Белозвезда, по следу которого идет охотник... Одноправно действуют в романе герои вымышленные и названные истинными именами. В новом издании, которое значительно расширено, события переосмыслены и поданы более глубже, а потому «Самотлорский Спартак» в пилотной вариации совершенно естественно, без «болезней роста» перерос в «Спартак нашего времени».

Роман о сокровенно-личном, что пережито Автором за 70 лет жития-бытия своего, о Сибири за фронтиром Урал-Камня, о России (Россия – не в росе, а в инеях...), о волновом Доме человечества. О том, наконец, как жить человеку с человеком в нем.

Саваоф

Повесть в контексте романа «Спартак нашего времени»

Часть первая

В этот приезд домой в родную деревню Таловку отпускник Никита Долганов окунулся в дрожащее над всем Прихоперьем марево. Небо, кажется, занялось огнем. Палит безбожно. Как подстреленные, ползают под соснами в горячих песках, раскрылившись, с широко разинутыми клювами, грачи. Дрожит в мареве раскаленная, что печная плита, степь, где-то начали уже возгораться травы, и в воздухе витают запахи степных пожаров. На выгоне глухо стонет, хватая раскаленный воздух ртами, большое козье стадо. Мекнет одна-вторая тваринушка и цепенеет от зноя и тишины смолкнувших воздушных, ни свежего звука, ни облачка. Жарит безжалостным огнем. Стонут будто от пекла чахлые колосья ржи на полях, изнывают травы, ожидаючи, как сказал бы Поэт, «маленькую зыбку капельку дождя».

На другой стороне улицы, напротив Долгановых, сидит в серой нательной рубашке богомольный дед Саваоф. Волосы его выцвели и стали светлыми, как пух у шара одуванчика, дунь, кажется, и вроде б не бывало их у дедули, станет его головушка голой, как глобус. Выпуклые свилеватые вены на руках говорят о работном прошлом винтового этого человека. Лицо у Саваофа кроткое и умильное, но взгляд у него строго-пронзающий, как у всевышнего. Саваофом его назвали местные парни за назойливые пристаивания его с рассказом о боге. *Выражение «Господь (Яхве) Саваоф» представляет собой непереуведенный евр. титул Бога. Слово «саваоф» [евр. цеваот] – это мн. ч. от цава – «войско», «воинство». Этот титул не встречается в книгах Библии от Бытия до Книги Руфь, но обнаруживается в книгах Царств, в книгах Паралипоменон, в Псалтири и в книгах пророков. Под воинствами могут подразумеваться войска израильтян (1Цар 17:45), а также скопления звезд или сонмы ангелов. Но, скорее всего, верна догадка о воинствах ангелов. Это имя подчеркивает вселенскую власть Бога, в руках которого находятся судьбы мира*

Соседка Долгановых баба Поля, проворная низенькая старушка с развалом седых до серебряного свечения аккуратных волос и коричневым родимым пятном на лбу, делающим похожим ее на индианку, говорит сварливо о Саваофе, посвящая Никиту в беды Таловки:

– Хлеще горькой редьки надоел он дурак. «Засуха, засуха за грехи ваши», – трандычит с утра до вечера. Тьфу. Это надо же – ввиду засухи пятьдесят поллитров водки запас, сто пятьдесят консервов и семь чувалов сухарей насушил. *Раздумался я об этом однажды в дачном своем раю, в уголке сада с лягушным озерцом. От калитки к нему взем метра на полтора, и далее горизонталь разных посадок. У самого ж края обрывного спуска к озерцу заросли хрена. Жинка его в кухонных делах почти не пользуется, и участок с саморостом хрена диковатый. Тут однажды соседка наша дачная Валентина Андреевна потревожила осиное гнездо, и, укаушенная осами за свою дерзость летела над дачным наделом почти горизонтально земле, как ракета, развевался лишь, как у Воланда, ее плащ на лету... В другой раз она осторожно уже искала по наводке моей жены какой-то корешок у нас. Допустила, однако, оплошку, не спросила спокойненько у моей благоверной, где он растет, а огорошила ее вопросом из-за спины. Узнав о месте, пулей ринулась туда, опасаясь ос. Да не в ту сторону. Жинка же резко повернулась, чтоб окликнуть ее, и упала, потеряв равновесие, на железный итырь запястьем руки, сломав ее на сгибе. Поставили ее руку коновалы хирургии неправильно, и полгода она мается с больной рукой. Новый дачный сезон на носу, не знаю, как мы будем управляться с дачей, тем более, что у меня стали отстёгиваться ноги... И думается мне теперь о расту-*

щем у нас хрене и вообще о жизни. Созвучный моим мыслям стих безымянного автора открыл в Интернете:

*Хрен, позабыв жену седую,
Влюбился в редьку молодую
И, взяв ее за хохолок,
В ЗАГС потихоньку поволок.
В пути бородкой нежно тряс.
– Медовой будет жизнь у нас!..
Прошло полгода. Может год.
И редька требует: – Ррразвод!
Невыносимо жизнь горька
Терпеть не в силах старика...
Хренек слезу пустил украдкой
А мне с тобою разве сладко?
С тех пор и слышим мы нередко,
Что хрен ничуть не слаще редьки.*

И это так, громадяне: сие есть жизнь! Может, молва прибавила Саваофу, который привык уже к такому сарафанному произволу, водки, сухарей и консервов, но того и другого и третьего у него было действительно было вдоволь. Чувалы с сухарями кто считал? Кто считал гору консервов? Вот водки, той действительно было хоть залейся. Сегодня исполнилась десятая годовщина со дня смерти любимой дочки этого дедули, и ему надо было излить перед кемнибудь свою печаль и тоску. Вспомнишь тут старое: «Кому повем свою печаль?»

Мимо старика пробежала молоденькая продавщица из хозмага Тайка, которая давно раздражает его короткой юбкой с заголенными чуть не до срама толстыми икрыными ногами.

– Срам божий! – ворчливо и весело меж тем в благодушии от пропущенной рюмочки кричит Саваоф.

– Как во поле вербы рясны, а в Таловке девки красны, деду-у-шка! – с вызовом пропела Тайка.

– Хворостину возьму, негодница голопопая, – грозитя дед. – Кара будет вам за грехи, голод, неурожай.

Тайка, самая бойкая из частушечниц Таловки, изобразила руками над своей головой гребень петуха, сопроводив «номер» ирокезским вскриком «Ко-ко-ко, ку-ка-реку-у!!!» и частушкой вдобавок:

*Тух, тух, я петух,
С курицей подрался,
Меня курица лягнула,
Я ухохотался.*

Ну, что ты возьмешь с вертихвостки! Старик лишь махнул рукой, смирившись с пересмешницей, но вскоре ястребино зыркнул на бабу Полю, а потом его внимание отвлек мотоцикл, в котором что-то ремонтировал бабкин сын Сеня, бедовая головушка, как думал о нем Саваоф.

Когда-то Сеня был лучшим трактористом в колхозе тут, а сейчас ездил на стройку в город, где устроился такелажником. Три месяца назад его бросила жена, и он совсем растерялся в жизни. Лицо его заросло жесткой щетиной, побурело, и в зеркало он узнавал теперь лишь глаза свои в узких щелках. Они родными еще оставались. Высверкнет

на себя Сеня взглядом, трепыхнется волком в западне сердце, и, готовый завывать, Сеня закусит губу. Самому себя-то ему жалче всех. Обида начнет жечь его, как неразбавленный уксус. Он покачает головой, смотрясь в зеркало, и прошепчут воспаленно его губы: «Рожа ты моя рожа, на что ж ты, рожа, похожа?» *Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только пошвыстывают и задумываются часто (А. П. Чехов).* Будь Сеня поэтом, да еще пронзительным по чувству, как Сергей Есенин, такой бы под этот свой настрой и стих сочинил:

Брошу все. Отпущу свою бороду.
И бродягой пойду по Руси...

Провоняю я редькой и луком
И, тревожа осеннюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.

– Сеня, – крикнул Саваоф, – поди-ка сюда, милоч.

– Здорово, дед, – хрипато басит его молодой сосед, присаживаясь на лавочку. – Чего надо-то?

– Х-мы, – а эт-то кто там с матерью твоей? – вскрикивает недоуменно дед.

– Никита Долганов в отпуск приехал из Сибирей.

– Никита, приди поздороваться с дедом, сукин ты сын, – кричит Саваоф.

Тот пересекает разбитую машинами улицу, взрыхливая горячий песок, радостно трясет сухонькую легкую руку деда. Душа Никиты переполнена чувствами, он рад каждой животинке в родной Таловке, кошечке и собачке, каждому человеку, каждой травинке.

Саваоф суетливо тянет гостей в избу.

Жужжит в кухонном окне одинокая муха, в нос Никите шибает непривычный для него после Севера и буровых застарелый запах кислой капусты. Старик распахивает створки в горницу, откуда сразу же напахивает ладаном. Оконца заклеваны мухами. Глядя в угол с лампадкой, Саваоф призадумывается и с думностью же в лице говорит:

– Икона вчера упала у меня в горнице.

У Сени бровь одна шевельнулась.

– Неуж к покойнику?

– Гребтится мне, что так, кубыть.

«Какой покойник? – думает удивленно Никита. – Кроме деда нет в доме никого. Дед бойкий, как солдат, германца воевавший. Что-то есть в нем от солдата из «Свадьбы в Малиновке» Хоть и на вершке, в справе-то по-стариковски.

Саваоф елозит сухой тряпкой по столу, вытаскивает из сундучка блеснувшую стеклом поллитровку, чашку с огурцами, открывает банку с мясными консервами.

– Не жирно ли? Так угощать – жид задавился бы. Будто у богатея какого гостим. *Все балаганские паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты – все как-то поразбежались позаграницам еще до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России поперемерли-поперевешались. И, наверное, слава богу, остались только простые, честные, работающие. Говна нет, и не пахнет им, остались только брильянты и изумруды. Я один только – пахну... Ну, еще несколько отщепенцев пахнут... Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже подыхаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут во веки. Жид почему-то вечен... Им должно расти, а нам умяляться... (Венедикт Ерофеев. Москва – Петушки).*

– Ешь – не ломайся, милоч: ломливый гость голодный уходит.

– Водка-то ни к чему бы, – добавляет свое Никита.

– Дочку, дочку помянуть надо, милоч, – отвечает дед, смагивая непрошенную слезу, и берется за рюмку. – Помянем, милые вы мои ребятки. Надежа моя была Настя, свет светочек в оконце.

Старик дрожаще, расплескивая, несет рюмку ко рту. Сеня долго цедит водку сквозь зубы, крикнув в завершение, молча хрустит огурцами. Никита призадумывается, вспоминая Настену, потом медленно, неторопливо пьет.

Из красного угла горницы глядят на них несколько почерневших деревянных икон и желтоватый, в точках мушых наследов численник. Горит лампадка. С икон, с окон, со спинки кровати свешиваются нарядные полотенца – их в девушках еще вышивала покойная ныне жена Саваофа Ефросинья. В горнице с ладанным ее духом старик каждодневно молился и поминал бабушку свою, которая век его не обидела и не поугубила, немногих покойных товарищей и дочь Настю.

Старик сидит сгорбленный, взгляд у него слепой.

– Жизнь, она – тяжелая штука: в портянку не завернешь и голыми руками не возьмешь, – заговорил он. – Очень чижало мне, дорогие вы мои. Я обижен жизнью до конца. Таковую дочку имел, драгоценней любого сына. А он сатанюка бил ее и куражился.

– Муж что ли? – вскидывает одну бровь Сеня.

– Он, ирод. Через него тощать стала, тощать и угасла, как свечка. Душу выбил он из нее... А сколько же я на него тянулся, все добро отдал, чище голого гола сам остался. Дом в Урюпине купил – любуйся сударушкой, зять дорогой! Он ее и счастья и жизни лишил. Теперь как кобель шелудивый в Новопокровске. И матери родной не нужен, ирод, никому. И нету ему счастья. И не будет его таким ветросвистам. Кто кому лихо делает, того лихом и покарает. Пошла душа у дурака этого по рукам – у черта будет!

У автора взметывается в торсион познанный нечаянно у «человека из Ламанчи» человека в белых одеждах Лени Иванова знаемый им по Питеру Виктор Ного с его стихом:

Головки гордой золота кудрей —
что может быть глупее и банальней?
Но я мечусь в истоме сексуальной,
как одичавший в праздности купрей...
В хмельном угаре суетных столиц,
сбежавшие от жен в командировки,
лелеем свои стертые винтовки,
стреляющие в сытых кобылиц.
Но Провиденье тоже ведь не спит:
Тому – букет... А этому вот – СПИД...
(Чтоб воскресить давно забытый стыд!)
И, подтянув ослабшую подпругу,
уже не скажешь, вспомнив ту подругу:
быть может, счастье – вас держать за руку...

Сеня впитывает сказанное до словечка.

– Как молотком по голове была смерть ее мне, – продолжает Саваоф. – Бабуку в охапку и стрелю в Урюпин. Приходим в морг-больницу. Лежит наша дочь белая, упокоенная навечно. Вопросает ее лицо лишь, что-то сказать нам хочет Настенька. Бабка упала на грудь ей и в рев, так зареванная и смолкать стала. Говорю ей: «Не поднимать Настю нам, Ефросинья. Скрепись, бабка, да и все. Оформлять давай документы». Пришел я на станцию, заявляю начальнику: «Дайте вагон до Новопокровска для отправки мертвого трупа». «Нету», – говорит. Ну, я насе-

дать на этого станционного служку: шлите телеграмму-молонью от моего имени, так, мол, и так, кавалер двух Георгиев я, и будьте добры теплушку мне дать. *Ирина, телеграфистка, придя во II акте, рассказывает: сейчас одна дама телеграфирует своему [сыну] брату в Саратов, что у нее сын умер, и никак не может вспомнить адреса... Так и послала без адреса, просто в Саратов... И плачет. Чужими грехами свят не будешь (А. П. Чехов. Записи на обороте других рукописей).* Отворил полу куфайки я, увидел моих Георгиев начальник и сжалился, выделил вагон... Гроб сделали, стружки набросали, положили Настю, а лицо ее белое все и вопрошает чтой-то, в жизни не разобралась еще дочка. Что хочет спросить, убей меня, прибеи ко кресту гвоздями – не отвечу тебе... Бабка воет, скулит... Прибыли в Новопокровск. Осень, хлюпает кругом, грязища, огни станционные ослепляют. Автобусы в нашу деревню не ходят. Грузтакси в районе у нас не бывает, как ты знаешь. *Это не в городе на Солнце, что живописан у Автора в книге «Письма с Солнца», а там, на Земле Фрийдмана в такой ситуации – магнитобус или еще того хлеще магнитоплан, фьырр и полетели, полетели. Земля под крылом, птичья воля...* Нашел я шофера, смеловый парень, не побоялся грязи. Поехали и скоро врехали по самый пупок. Не рассказать тебе, Сеня-милок, как толкали мы с бабкой машину по грязи, везли ее на себе. Бедной Насте никогда уже не знать этого. Привезли все ж домой мы ее. Выбирал я себе место у кудрявой березы – Насте отдал. Под ветками ее плакучими спит доченька. Гроб с телом ее стоял когда в комнате – опустилась с неба лебедь белая и долго кружила над домом. У птицы-то этой был, верно, лебедь, и знала она счастье. Нашу лебедушку не опануло его крылом. Услышу теперь лебедей – щемит сердце в разрыв. Может, и душа Насти-лебедушки летит с ними. *О ней невольно думаю теперь, выпустив книгу «Полет Путина-стерха». В отдалок за нее питомица моя по литературному семинару молодых Ирина Андреева преподнесла мне собственную картину со стайкой взлетающих стерхов. Эдакое сокровение природы. Волнует оно меня, как звездное небо с протянувшейся по нему линзой Млечного пути.*

Саваоф заплакал беззвучно, слезы в горошину покатались по ложбинкам морщин. Он вытер их тыльной стороной ладони, взглянул опухшими красными глазами на молодого соседа, еще пуще отчего-то залился горемыка слезами, а потом резко поднял рюмку.

– Тяпнем, Сеня.

Никиту не видел он в слепости души на этот момент. Но потом вспомнил о нем все ж и оборотился к таловскому сибиряку.

– Выпей и ты, Никитушка.

Никита отказался от рюмки, а Сеня с дедом выпили.

Старик вновь склонил голову. Как можно было судить его, на каких весах можно было взвесить надежды, страдания и жизнь его? Редкие белесые волосы на голове Саваофа торчали беспорядочно во все стороны, как взвихренная солома на единственной с такой крышей его избе (на других уже давно воцарилось железо). Был этот домок в Таловке такой же утлый, как и его хозяин-дедок. Надо бы чинить его, да кому и к чему? До смерти же дочери дом у Саваофа был игрушка игрушкой, крышу старик крыл сам, и соломку к сололке укладывал и подрезал. Как на выставку. Приговаривал весело тогда Саваоф: «Меньше строй, да больше крой». Верткий мужичок был, а верткий и из петли вывернется. Но где они годы саврасые? Глядя на дом Саваофа некогда, Никита Долганов думал: вот уж истинно, прибереи пенька и будет похож на панка. Но сейчас ни старик сам, ни дом его не вызывали созвучий с панком. Скорее – с некрасовским мужичком, который от жизни куцей своей и подался по белу свету узнать, кому ж на Руси жить хорошо.

Мгла неразделенного одиночества подъедала, как ржа, самого Саваофа, и его жилище, прошлое их жизнью, ставших теперь слитными в прозябании, разрушало само себя в меланхолической красоте разрушения, затягивало так или иначе упорядоченного по своему некогда времени их паутиной забвения.

Саваоф причесывает волосы, разграбывая, как казалось ему, пятерню негнущихся пальцев, и вновь продолжает горестную свою речь:

– Один я среди стен, как травинка. Три, семь раз в день поплачу. Они со мной, Сеня, не разговаривают, онемело все в доме моем. Я плачу, как Иремия, и из-за тебя матря твоя плачет каждый день. Я-то вижу все со своей лавочки. Надо жить и радоваться такому молодому человеку, а ты один. Мучает, испытывает тебя судьба. Какую имеешь радость в жизни своей? Или ты сыграл песню, или с дитем порадовался.

Сеня с криком вздыхает и ерзает на табуретке.

– Тяпнем, дед!

– Тяпнем, милоч.

Крякнул после рюмки Сеня, скользом руки губы утер и сказал:

– Не понимает меня жена, вот и ушла.

– У ней сердце к тебе охладело. Ее господь бог вперед тебя покарает за это.

Саваоф еще налил.

– Ты, дед, все подливаешь и подливаешь, – сказал молодой сосед.

– А ты, Сеньк, все выпиваешь и выпиваешь, – ответил дед с веселинкой. *Как сваты в анекдоте оба они иль герои из крыловской басни: ведь подчивал сосед Демьян соседа Фоку и не давал ему ни отдыха, ни сроку. Хотя сколько можно, прощаться давно пора. У Чехова в записной книжке есть веселка-замета о таком: «И от радости, что гости наконец уходят, хозяйка сказала: Вы бы еще посидели».*

Сеня сидит мрачный, насупистый.

Участливый к людям, а к родным с детства таловцам тем более, Никита молвит лишь мысленно про себя: «Эх, жизнь жистянка. У всех свои беды. Но у нас на Северах все ж веселей. Энергии больше бодрящей».

– Был я дома вчера, – говорит Сеня, – дочь притулилась ко мне и жметяся, глаза у нее стонут. *Была тут у моего Сени приговорка: блин. Имеет она место быть, как говорится, в жизни. Прочел роман-эпопею «Самотлорский Спартак» в рукописи не в последней редакции философ наш Федор Андреевич Селиванов и устыдил меня: во какую культуру будет нести в массы писатель Мищенко. Меня в жар бросило после этих его слов, и постарался я вымарать все эти «блин» из текста. Публично приношу самую искреннюю благодарность Селиванову за своевременную, блин, подсказку. Последний рецидивный всплеск со злополучным лексическим сорняком. И сыну и внуку закажу теперь на будущее, чтобы избегали подобных «блинов». А Федора Андреевича в подарок за редакторскую помощь свожу в блинную. Там и гора блинов, да с маслицем, с медом, с вареньями разными будет кстати.*

– Вернется твоя сударушка, поклонится, – успокаивает Саваоф молодого соседа. – Она себя понимает сильно. Я, мол, писариха, а он пашет и навоз возит. Ты шею подставил – залюбила она тебя, и они все на тебе катались. Такое хозяйство держать, коров трех, овечек и коз! Приймак – что батрак. Батрачье ж дело хуже, чем телячье. Того худая будь корова, а лизнет. Черен хлеб батрака. Веником ты у них состоял, Сеня. Ты думаешь, что я сижу тут на лавочке один и ничего не вижу? У меня глаза не повылазили. Я за два километра наскрозь все вижу. Воспротивился ты жизни такой – и разлад в семье наступил. Ты еще и сам пока не разберешься в себе, как не разобралась моя Настенька. Душа взбунтовалась – до головы когда дойдет... Ушел ты от тестя. Вырвал жену на самостоятельную жизнь, а в голове у ней мысли старые еще живут.

Старик выворачивает душу Сени наизнанку, мнет ее так, как мнут и дубят кожи.

– Локотки еще будет глодать, но поздно, будет, – отзывается застуженным от горя басом Сеня. – Тяпнем, дед!

Оба горемыки выпивают с криками. Саваоф, пожевав хлеба, вытирает губы.

– Жить надо, – рассудительно говорит он. – Жена блюди мужа, будь женою ему и матрью, а муж жену сохранять должен, пока дасть ему господь жизнь. *Астров. Женищина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг (Из «Дяди Вани» Чехова).*

Самое последнее дело по чужемужним женам шалаться, как кобелю-пустобреху. Праздного бес качает.

Старик повел рукой, словно отодвигая от себя незримую нечистую силу.

– Вторая жена не жена. Чада бросить и по сударкам ходить – не дело. Вон Шалыгин дурак четвертую взял, детей порассеял – что это? Мотовство. Смолоду кривулина – под старость кокура, вот мой сказ. Что из злаков вырастет этих? Дети злаками добрыми должны расти, а не сорняками. Нет, не будет жизни твоей жинке, и тебе – нет. К тебе быстро прилипнут, дорогой мой. Нужда заставит жениться, жизнь возьмет свое. Пипирка не без чувства.

Сеня рывком, сорвав пуговицу, расстегивает ворот рубахи.

– Душно здесь, дед, выйдем на крыльцо.

Наружи все так же безжалостно палит солнце, земля дышит сухим жаром. Светило будто вздумало прокалить кирпичи жизни для прочности, и в таком жару пребывала и душа Сени. Воспаленно он жил и просвета не видел в будущем. Бессилен был кто-либо помочь ему в чем-то.

Саваоф глядит из-под руки на солнце.

– Как жгет стерва. По улице пойдешь, так ноги гудут и гудут...

И с так сказал он это, что Никита жар пламени в словах его даже почувствовал. Саваоф, может, и жары всего тысячелетия на Русской земле вспомнил: слухом же полнится и наполнилась она всегда, на бедствия народные память у людей не коротка. А было на земле нашей за тыщу лет все, как беспристрастно записывали летописцы: «Сухмень велика и знойно добре», «Жары вельми тяжкие», «Изгараше земля», «Сухмень бысть», «Боры и болота згораху», «Сухмень и зной велик и воздух курящеся и земля горяше». От дыма «много дней солнца и звезд не было видно». В период «бездождия» в начале XI века почти дотла сгорают Киев, Новгород, Чернигов, Смоленск, что фиксировалось в «Повести временных лет». *Американские ученые утверждают, что выяснили истинную причину исчезновения цивилизации майя. В их гибели виновны климатические перемены на Земле, которые и вызвали катастрофическую засуху. В 5—7 вв. н.э. в Центральной Америке было благоденствие из-за большого количества осадков. Аграрная цивилизация майя быстро развивалась, однако затем, до 11 в. н.э. климат резко сменился на засушливый, и зависимые от погоды города майя пришли в упадок. Урожай резко снизился, что повлекло за собой голод и резкое сокращение числа жителей. Все это привело к социальной раздробленности, междоусобной вражде и обострению разных религиозных течений. А период самой сильной засухи пришелся на время между 1020 и 1100 годами нашей эры. К этому времени демографический и экономический кризис цивилизации достиг апогея, аристократия стала резко терять власть, а люди уходили с обжитых территорий, оставляя ее диким зверям... Итогом стал закат некогда мощной цивилизации. Итожно можно сказать, что цивилизацию майя убила засуха.* Неурожай, вызванный засухой в начале XV века, которая сменилась проливными дождями принес такие беды на Русь, о каких новгородский летописец горестно восклицал: «И како могу сказати ту беду страшную и грозною, бывшую в весь мор, како туга живым по мертвых, тем же едва успеваху, живни мертвых опрятывати, на всяк день умераху только, яко не успеваху погребати их, а дворов много затвориша без люди». Свежая засуха, в 1839 году в Заволжье: «Ветры дули и обливали жаром», «Собаки, волки и другие животные выли от жары».

Саваоф с Сеней присаживаются под тень забора на лавочке. Никита, сославшись на язвенные боли в желудке, чтоб не принуждали его на выпивку, устраивается на траве рядом и достает из заднего кармана брюк подаренный ему поэтом-буровиком Виктором Козловым

томик Рембо. Раскрывает книжку, но ему не читается: внимание приковано к разговору двух горемык.

Старик отрывает полосу от газетки и скручивает, слюнявя, козью ножку.

– Дай-ка, дед, и мне махорочки, – оживляется Сеня.

Старик затягивается и смотрит в какие-то ведомые ему дали. В глазах его появляется сизая, как струйка дыма от табака, наволочь.

– Ходил я на поле, – не поворачиваясь к Сене, – говорит он. – Пылью занесло пашенницу. Вот что ветра сделали. Сам ты был трактористом и знаешь, как пахут сейчас. Завернули по самый пуп лемех, пески мертвые наружу вывернули и ждут хлеба, глупцы, так иху растак.

– Для бурь песчаных самый раз это, – оживляется дед. – Почва закопана, солнца не видит. Мы-то без солнца блекнем. Земля – не рыжая. А вы почву закопали, как похоронили живое, и урожай ждете. Раньше на таловских песках по двадцать пудов ржи на круг брали, теперь – по десять с трудом наскребают. А ныне вообще все сгорит, хоть скот выгоняй на потраву хлебов. Ох, хо-хо!

Старик встряхивается, раскрывает ладонь и показывает Сене.

– Раньше на четыре пальчика пахали мы.

На Сеню словно напахнуло раздольем степи с серебряными ковылями, острым запахом изморосно-белой полыни, ворвались в его душу неумолчные хоры кузнечиков и звоны жаворонков. Вспомнилось ему, как в детстве шагал он тут цепью с ребятами постарше, Никитой и его сверстниками и со взрослыми полем цветущего картофеля и, шныряя между кустов, вылавливал, снимая с листа оранжевых колорадских жуков, маленьких таких полосатых полумячиков, как поставил тогда рекорд на облаве этой, как сказал полевод, что утерли мы нос Америке (оттуда же завезли колорадики), как пел со взрослыми потом песню о колорадском жуке и о том, что «Трофим Лысенко думает о нем» (надо ж, и эта малява сработала на торсион взлета этого жука в отечественной науке), как познал впервые, может быть, празднично-возвышающую силу труда, светлые узы его, связующие людей в интернационал единого человеческого братства.

После службы на флоте Сеня женился и согласился уйти в приймаки к новым родственникам, в клетях на базу которых хрюкала, визжала и мычала всякая живность (по-настоящему хорошая миниферма или ИЧП). Любуясь скотинкой и садом, большим подворьем, тесть говорил ему: «Умрем – все ваше будет». Сколько молодого народу, клюнув на эту сакраментальную фразу, сломало свои судьбы, неисчислимо, наверное!

Говорил тесть в общем-то жизненно и всю-то свою речь он строил из обычных, казалось бы, каменьев быта, не было в них ничего порочного. Неровности камней, однако, образовывали при соединении, накладываясь одна на другую, такую симметрию *какая живет в лицах покойников, когда возлежат они в гробу по ритуалу в похоронный день*, по которой дома превращаются вдруг в остроги, и тогда только приходило понимание, что камни надо внимательно различать, когда берешься за стройку.

В доме тестя по-бычьи работали, так же по-бычьи и пили: гулянки с могучими возлияниями и обильной снедью олицетворяли достаток (ментальность та еще!). Приймак-батрак работал на всю скотину, как тот жилистый хохол из присловья – на быка, поил, кормил ее, чистил хлева, косил сено. Получалось, как в том присловье: корми быка – он тебя прокормит. Держи, в общем, карман шире... О душе своей забывалось, и зарастала она грязью и копотью (ни дать, ни взять, классическая энтропия духа). Механик таловского откормочного совхоза (сосуществовали тут вместе, как говорили в Таловке, колхоз и совхоз) пьянчугой был, опузырившем животом, и искал только случая, где рюмку сшибить. Агроном попал ни рыба, ни мясо, не умел постоять за свое. Предшественник его Ефим Копытка покоился на погосте, и можно было лишь вспоминать, как исправно и честно тянул он, копытясь, воз со своими агрономическими заботами и как коняга же, невзирая на ранги и должность, регалии разные, мог ляг-

нуть копытом каждого, кто без раздумья совался в его службу, которую он исполнял так, как исполняют службу с думой о боге в церкви.

Без Копытки все пошло наперекосяк, раскопытилось, скажем, играя словом. Трактористы не раз высказывались, что мельче надо пахать. Но их одергивали. Ранжир инструкций: есть, мол, норма двадцать два сантиметра глубины зяблевспашки, и будьте добры, извольте, милейшие, ее соблюдать. В тресте откормсовхозов тоже не дураки сидят. По-нынешним размышлениям Сене подумалось бы, а где же тогда кучкуется эта орда дурачья, которая бритвенно срезала социализм со всем добрым в нем до бучи Перестройки, как не в недрах государственной бюрократической машины. Мое авторское бы подхлестнулось к мысли героя рассказываемого об одной из течимостей судеб людских в нашей жизни: монстру бюрократии не до нее было, отделился он уже от страны, от народа и пребывал в своем бесовском бытии самостоятельно, как система подобная галактике, выхолащивая человеческое, радости, страдания, чувства и эмоции до параграфа, инструкции, до галочки, до безжизненной буквы. Поэтому и бороили и культивировали поля тоже по дурацким инструкциям тех, кто полей не видывал и не нюхивал, живя в заасфальтированности городов, а видел лишь поля из бумаг, просторы которых в стране стали катастрофически множиться, и мог сдуру начать поливать асфальт в надежде, что на нем вырастут лилии. У поэтов и святых они, правда, могли вырасти. У этих же обалдуев бюрократии *харь анафемских, коих по рылу видно, что не простых свиней свиненки, как мог бы назвать их не очень зло Сан Саныч Фридман, эти*, о ком речь сейчас, ничего кроме чертополоха не выростало и на нормальной-то земле.

«Мелем мы землю, никакой структуры почвы не остается, – возмутились механизаторы. – Зубной порошок один, пыль. Пройми-ка ее дождями. Вода свертывается и вглубь не идет. Столько ее набирается – хоть рыб запускай и выращивай их, выполняя Продовольственную программу».

«Есть указания свыше, из откормтреста – исполняйте», – одернули их. *А есть еще установка весело провести новый год, как говаривал Бывалов в «Волге-Волге».*

Тогда-то и взбунтовал Сеня.

«Языком зубы выхлестать можно, и все равно никому ничего не докажешь, уйду в город, – решил он, – там порядку больше, не клятый, не мятый, отработал восемь часов и король сам себе, захотел – кино тебе, телевизор смотри, хочешь – книжки читай, рыбку езжай ловить, Хопер рядышком, под кручей берега городья»

Сеня устроился трактористом в мехколонне, но случилось ему вскоре провожать в армию младшего брата, выпил он тогда на похмелье, сел за руль пьяный и повалил телеграфный столб, и не где-то, а перед окнами райкома партии. Отобрали права у Сени, и пришлось ему идти в такелажники.

В первый день понял Сеня новую свою службу, о которой с мрачной шуткой сказал:

– Служба КП – куда пошлют.

Народ в службе КП был из тех, кто от села отстал и к городу не пристал, любители выпить и подхалтурить. О каждом из таких только что и скажешь по-русски: ни в городе Иван, ни в селе Селифан. Ни трезвь, ни пьянь, полведра выдудлит и ни в одном глазу. Ловушка жизненная, ни в коробе, ни в хомуте *бюстгальтере, как сказали бы на молодежном сленге. И не мне говорить, вам об этом, читатели, сельские в особенности, не вам меня слушать: вам понятней ситуевина эта – врежусь тут чисто Авторски.* Втягивался и Сеня в эту стихию. Он стал попивать, да круче с каждым днем все и круче и однажды застал свой жилой вагончик, в какой временно поселили его до ввода благоустроенного дома, пустым. Жена собрала вещи и уехала с детьми в Таловку. С этого времени и началась у Сени, как он определял позже, дикая, волчья жизнь, подобная той, какую вели серые в хоперских лесах. Не выдержав кошмарности своего существования Сеня перебрался к матери в Таловку и ездил в город на велосипеде.

А жизнь все туже и туже завязывала на его судьбе узел, и не простой, а морской, если говорить на былом его по матросской службе языке. Ватага такелажников, пользуясь бесконтрольностью, пустила налево машину первосортного кирпича из каких-то особых глин с преобладанием каолинита. Калым был дружно пропит. А коль это дело сошло с рук, ватага шуранула на сторону еще несколько машин кирпича.

После недели угарно-похмельных дней Сеня проснулся ночью однажды в змеино-холодном липком поту и, глядя в черноту ночи, с ужасом понял, что стал вором. Совесть, этот стоящий на страже интересов посол общества в человеке, счет предъявила, и пробудился, заструился в кровотоке вен Сени страх. На улицах, в центре, у присутственных мест, магазинчиков, расположенных в зданьницах бывших купеческих лавок, ему казалось, что люди глядят на него подозрительно, с мыслью, что вор он. Сеня ознобно ежился, ему мерещились милиционеры с красными околышами фуражек, по телу пульсировал холодок страха. А ментовский же народ такой, пронизательные они, унюхливые, как собаки. *Служащий в сыском отделении приезжает домой в деревню; он в калошах, штаны на выпуск, родне его приятно, что он вышел в хорошие люди. Глядит на одного мужика и все беспокоится: «У него рубаха краденая!» Оказалось, верно (А. П. Чехов. Записная книжка).* В таком встревоженном состоянии он и приехал домой.

Залечивала раны после войны страна, и все чаще стала приходить радость в новую семью дяди Ильи. Нет уже его самого на белом свете, рак вдобавок ко всем невзгодам доел его жизнь дончака и хоперца, что было для того едино. И говорила теперь баба Поля:

– Только и жить стали. А у тебя, сынок, радости как коровьим языком слизнуло. Хоть че ж не радоваться. Хлеб в магазинах и белый и черный, и сайки есть, и плюшки, каральки разные, и другие еще пундики.

Пундики бабы Поли являли собой конфеты, халву и другие сласти, всякую галантерею и вообще все, что выходило за рамки самого необходимого человеку, без чего не прожить.

Сене вспомнилось его детство. Дальний Восток зацепил он краешком своей жизни и мало помнил. Для него заря жизни занялась в хоперских краях, где царил в ту пору в природе «золотой век»: зайцы и лисы по деревням бегали, дрофы, как гуси, стадами бродили в травах, в реке водились голавли и подусты в руку и на медные пятаки даже клевали. *Золотой век сонмы людских поколений смутил и смущал, и каждому человеку он живописался в воображении и мечтаниях, конечно, по-своему. Пленил меня Даль со сказкой своей о Роговольде. Чудесный сладкий остров. Пастила в лоточках на деревьях растет. Мед липецкий густым потоком клубится. Хрусталь сахарные его берега устилает. Квас малиновый рекой судходной протекает. Калачи горячие московским паром своим воздух согревают. Мороженое аж тридцати пяти сортов (в моем богоспасаемом граде до этого еще не дотянули, в нашей Тюмени горазды на пельмени). На подносиках золотых девушки русокосые их разносят. «Не хочу и рая, – сказал Могучан, – буду здесь жить и умирать». Во как, хлеце рая бывает в веках золотых на чудных-то островах.* Мать Сени, спустя не один год уже после расстрела мужа как «врага народа» вышла замуж в городе амурских угольщиков Райчихе. До этого была замужем второй раз, но муж новый на фронте погиб. Первый – от пули своей, советской, второй – от пули немецкой. Одна бедовала, пока муж сестры не вывез ее с детками в Райчиху. Тут и новый поворот случился в ее судьбе. С отчимом, веселым по натуре мужичком-живчиком Ильей детям ее повезло. Жена его попала под бомбежку где-то под Курском. Он же оказался на фронте в окружении и, пережив несколько страшных атак, вплоть до рукопашной, попал в плен. После фашистского плена бобылевал, будучи сосланным в город угольщиков. В скотском вагоне все Россию просек... Не мог рассказывать никогда о Майданеке, плакал всегда, выпив вина и развспоминавшись с другом по плену Ваней Ватеечкиным. Осколком ему повредило глаз, вывернутый наружу красным исподом века, он вообще-то всегда слезился... Я лично как автор этого повествования прочувствованно думаю, что не выплакал бывший казачий сын с Хопра

горе свое, принесенное ему войной, вот и сочилась у него вечно слеза. Так со стороны могло казаться хоть и на веселый его глаз. Влюбившись в хохлушку Полину, очень привязался к ее ребятишкам.

– Морозец прихватил землю однажды, – рассказывал Сеня Саваофу. – Отчим, папка наш ветку полынную сунул за шиворот мне: вставай, пастушок, мол, – а мы в шалаше жили, когда скотинку пасли. Костер развели, позавтрикали. Над рекой туман за клубился.

Волновало это все бесхитростную, как степь здешняя, Сенину душу.

– Белотальник засеребрился и осокорь, – продолжал он. – Как свечки в церкви, загорелись огоньки солнца в измороси на траве и листьях деревьев. *И такой свет лился с неба, что глаза у Сени стали узкие, как щелки, как видится мне это из сибирского своего далека. Такие же они у Ирины-лисички, какую я вознамерился поселить в городке солнечников, когда нагрянули на мое сознание подобные Уэллсовским странички об экспедиции в морозную страну одного из пятен на Солнце. Магия свечения глаз захватила меня недавно и в ТОИРе у Василия Петровича Федотова. Объявился У него на «рабфаке» его души, как я называю собрание молодых под свое крыло Федотовым, моряк из порта Ванино, который живет и в моей солдатской судьбе. Саша служил там в морской авиации. Родом из Юрги с почивающей в тутошних весах психбольницей, а по моему образному чувству из юргинского коммунизма в этой глуши о каком вспоминать и весело и печально. Так глаза у него – звездно сияют. «Досияют, Саша, – сказал я ему, что попадешь ко мне в роман: минералы-самоцветы и глаза всегда пленят меня...»* Чудо прямо, а не утро! Я кнутом щелкаю: поднимайся, куцехвостое племя, кушать вам подано. Рядом зелены были. Загнали мы коз на них, они и давай уписывать их. А корка земная не мнется, посеву не вредит стадо, еще лучше структура у почвы становится. Козы жирными, как коты, за неделю стали у нас.

Забывался в эти минуты рассказа своего Сеня в день, когда зазвал его Саваоф с Никитой помянуть дочь свою Настю, о тяжести, что давом давила его душу. Но кончались слова – власть переходила к другому его настрою. Как в Гражданскую случалось тут у него, но по-своему, естественно: на красную, как заря утренняя, песенную душу Сени наваливалась тоска зеленая. Но лучами света небесного, как сквозь кущи тальника, прорывалось в его сознание детское, то, что знал он больше со слов матери.

Впечаталась в сознание Сени щемящая его душу такая картинка. Мальчонка смотрит, давясь слюной, как маленькая девочка у хлебного магазина ест пончик с золотистой корочкой. Потом он с бурундучьей живостью следит, как она пьет самый сладостный в мире напиток – розовый морс, а у него слепляется все от жажды в горле. Сеня глядит на благоухающую будто майская кисть сирени в шелку своем женщину, стоящую рядом с девочкой и хочет крикнуть ей: «Ну, почему, тетя, вы не моя мама?» Он, маленький голодный зверек-эгоист забывает, что мама с опухшим и желтым от болезни лицом стоит рядом и у нее так же, как у него, кружится голова от голода и пересыхает в горле.

Рядом с ними в железнодорожной слободке жила тетя Нюра, и это новые уже картинки. Сеня помнил желтые сливы, которыми та угощала их. Мужа у нее убили на фронте в первые же дни войны. Она несколько месяцев держалась, потом в разгул, как на ножи, бросилась. Заплевывали ее мужички – очнулась, встала, снова жить строго стала. Теперь она умерла и покоилась где-то на кладбище: мертвые не без могил. *Се, равенство природных прав! (князь Долгорукий, Завещание)*. Память Сени же хранила те времена, когда связалась тетя Нюра с сектантами. Затащила однажды на моления Сеню с другими ребятишками. В доме Душкиных, а там собирались сектанты, велись разговоры о пламени геенном до неба и о том, что вся земля будет гореть, а люди – в котлах кипеть. Эти страсти напомнились Сене через много лет, когда позвал его в гости отпускник-северянин Никита Долганов, и отец его старый дед Петро проговорил как-то после телевизионного репортажа о боях на Ближнем Востоке:

– Не дай бог термоядерная война случится. Как плескнут баллистическими! Запылают земли и воды. Капиталисты полезут в бункеры. А нам ребятишек терять. Война вещь сурьезная. *Война, война! Когда ж век золотой тот наступит, что забудем мы это мерзейшее слово, и радость и искательство разольются по весям планетным. Будущее не за воителями, вскормленными войной, а за созерцателями-натуралистами, артистическим человечеством. Касается ли это одного человека, маяка, или – коллектива. А это ж структура, они – разные: «песчаная россыпь» – ветер дунул, «мягкая глина» – внутренние связи, «мерцающий маяк» – я здесь, чтобы прийти на помощь, и наконец, «алый парус» – символ устремленности, неуспокоенности. Это воспламененность на такую ярость свершений, которой в одиночку редко достигнешь. Истинно, кто не работает на завтра, тот слеп сегодня.*

О ВОЙНЕ

Война – гигантский омут нигилизма. и даже демобилизованный с фронтов первой мировой войны Макс Эрнст /1891—1976 г.г./ ваяет полотно с акварелью «Битва рыб» *после каковой остаются лишь голые хребты позвоночные.* Появляется у него 8 литографий с двигающимися манекенами. Темами его становятся застывший космос – звезды, неподвижное море, города, леса минералов, окаменевшие цветы. «Неделя доброты» разрывает его нигилизм, но потом он сильнее еще овладевает художником, творения которого определяет приближающаяся новая уже мировая война. и парализованной кажется жизнь в этапном его полотне «Европа после дождя». Это подобие фантазмагорического леса из текучих каких-то людских тел и фигур. Лишь в 50-ых годах рассеиваться начинает, как туман под жарким солнцем, нигилизм Эрнста, и кисть его рождает живописные композиции («Козерог»), которые сочетаются, как писали о художнике, с реминисценциями из его прирейнского детства. И это симптоматично. От чего? Да от того, что война противоестественна, это такая направленная прямолинейность, которая сродни стволу тагильского танка, занаряженного лишь на стрельбу. И насколько же богаче жизнь, являющая себя в малом даже как вселенское явление. Это подобно тому, как капля воды несет в себе свойства океана. Восхитителен, по моему восприятию, этот кусок записей в дневнике В. И. Вернадского от 15 августа 1893 года, что звучит антитезой «Битве рыб» Макса Эрнста:

«...наблюдая морскую жизнь, находишь гораздо больше, точно присматриваясь. здесь ее удивительно много. Особенно ясно чувствуешь установившееся равновесие в этой жизни и как-то больно чувствуешь свое незнание. В момент проявляется такое свойство жизни, какое являет собой взаимодействие между душой человека и природой. Фернан Бродель подчеркивал, что главной сферой его исследовательских интересов является «почти неподвижная история людей в их тесной взаимосвязи с землей, по которой они ходят и которая их кормит, история беспрерывно повторяющегося диалога человека с природой, столь упорного, как если бы он был вне досягаемости для уцерб и ударов, наносимых временем». И грех не привести из записей Вернадского в августе 1892 года это: «Гармония в природе – как следствие равновесий. Равновесие не есть ли основной механический принцип в сложных разнородных средах?» Но ведь таковое, динамическое равновесие характерно и для всей разнородной Вселенной. Вчера поймал целый ряд самых разнообразных раков, рыбок и – не знаешь, не знаешь.

Я никогда не думал, чтобы на берегу была такая обильная жизнь. Здесь берег покрыт сплошь огромными и мелкими валунами, камнями. В большое волнение моря (так было и недавно) они перекатываются, изменяются. Слышишь тогда, кроме шума волн, грохот от движущейся громады камней. В зимние бури передвигаются камни в сотни пудов весом. и среди этих камней богатая жизнь водорослей, среди них многочисленные моллюски, ... раки – крабы, креветки, раки-отшельники, актинии, нередки медузы; два сорта мелких рыбок – одни присасываются к нижней поверхности камней, другие держатся на плавниках по камням и ползают по ним. А приплывают посторонние пришельцы – камса, кефаль, медузы – появляется масса

бакланов на камнях, вдающихся в море. А мелочи сколько! Подобное обилие жизни узрел я в живописаниях звезд и созвездий, звездностей, астероидов и комет в писаниях поэтов астрофизики Тхвана и Стивена Хокинга, в книге нашего И. С. Шкловского «Звезды: их рождение, жизнь и смерть». Так страстно хочется одно какое-нибудь лето посвятить изучению жизни моря, пожить около какой-нибудь станции. Так сильно чувствуешь недостаток этого образования. В жизни земли органическая жизнь моря – самое важное». Воочию убеждаешься, как разжигает человека разнообразие мирной жизни. И это ведь не случайность какая-нибудь или просто личные свойства натуралиста Владимира Вернадского: хомокриенские искания при-сущи «человеческому веществу» и являют собой закон природы. Пишет же сам Владимир Иванович в своих дневниках о проявлениях сознания, когда «сами явления жизни получают характер непреложных з а к о н о в, слагающихся как под влиянием сознания отдельной личности, так и с о з н а т е л ь н о й однообразной работы массы мелких человеческих единиц». И далее о **законообразном характере** (выделение – А. М.) сознательной работы народной жизни. И что ж мы видим во всей истории? Отвечает Вернадский же: «...постоянную борьбу сознательных (т. е. «не естественных») укладов жизни против бессознательного строя законов природы, и в этом напряжении сознания вся красота исторических явлений, их оригинальное положение среди остальных природных процессов. Этим напряжением сознания, *способностью «вслушиваться в пульс матери» (Маринетти)* может оцениваться историческая эпоха». Миром она оценивается: все дела меча под силу перу, но мечу дела пера не под силу, как говорили древние...

– И рожь в такой колоснице вымахала после нашей пастьбы! – продолжал Сеня. – Самый большой урожай с этого поля взяли. С землей работать – надо черепком думать.

Старик устроил самокрутку в расселину между зубов и попыхивает сиренево-сизым дымком, не вынимая ее изо рта.

– Верно, Сеня. В наших местах можно богатые урожаи брать. Я ж хлебосев и знаю, что пшеница у нас, как ленюк, может быть, рожь прекрасная, овес, просо хорошо растут, надо знать только, как сеять. Подсолнухи я выращивал – стопка по пояс, а шляпка – во-о!

И Саваоф развел руки шире плеч, показывая это «во-о».

Сеня уткнул взгляд в землю, скосив его потом в сторону Саваофа, спросил:

– Кто такие подсолнухи вырастит сегодня?

И ответил себе ж страдательным голосом:

– Никто. Оболтусов много в совхозе. В городе стал работать я – как на ладошке вижу: посевная, уборочная – они торчат в Новопокровске. А хлеба, мяса, картошки, петрушки разной всем надо.

Старика разобрало на солнце, но он пьяно оживляется:

– Нам нужны и мяса, и рыба, и овощи. Надо поменьше выпивать и побольше закусывать. *Выпивайте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей, как говорил Беня.* А потому тяпнем, Сеня-милок.

Они ныряют в избу и вскоре снова выбираются на вольный воздух. Лицо Сени подбело, глаза его стали маслянистыми. Будто сменил маску и Саваоф: в уголках губ его застыла бесовская какая-то полуулыбка, взгляд старика стал огнистым, как у крольчихи.

Пыхтя новой самокруткой, Саваоф стал говорить, распевно обращаясь к Сене и домам на противоположной стороне улицы, привычному для него теперь клочку вселенной, открывающейся ему с лавочки:

– Все сго-рит, так и знай-тя. Не стали почитать отца небесного Саваофа. Гре-шим, пьем, ру-га-емя, стираем друг друга с лица земли, с говном мешаем. Забыли, что от бога пришли на землю. О своем брюхе, о своем веселии думаем. А почему б и не прославить и – имя Господ-не? Почему б и не уважить всевышнего. Доколе так жить! Пока жары велие в пепел не обра-

тят нас, так что ли? Чем Земля наша будет, милоч? *Оскудеют реки, и каналы Египетские обмелеют и высохнут; камыши и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и възрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние (Ис. 19:6—8).*

Поворот к богу не был неожиданным для Сени. Он не раз уже за те годы, что жил в Таловке, накоротке говорил с Саваофом, наступательная набожность которого не распространялась дальше лавочки у его дома. Вел он беседы о вопросах веры, как авторски я это понимаю, подобно тому, как вел их, размышляя с поселянами о боге в Березово именной столичный ссыльный к черту на кулички, высокородный и светлейший князь Александр Данилович Меншиков, пока не затурьныкал его Петр Первый по обвинению в государственной измене и хищении казны (и это не коррупция, чем ни чем, а прикрытая, а прямое и наглое воровство, как я разумею это из нового тысячелетия). Саваоф ничего ни у кого не крал, и ему, ясно, больше пристало говорить о божественном.

У старика были свои отношения со всевышним. В вере его сквозила какая-то целомудренность. За бога он агитировал редко и активничал лишь на старости лет, когда пропускал от тоски и одиночества рюмку-другую. А так-то он тихо, сам себе верил в бога и правее римского папы себя не выставлял. *«Правее них была только стена», – говорил британский политик Рандолф Черчилль о парламентариях-консерваторах.* Ни боже мой, он был рядовой послушник веры, самый распростой, как любой российский пахарь на земле-матушке. В данном случае пахарь на ниве веры. Свой храм имел Саваоф, в себе самом, и как поэт веры жил в мире грез, в мире трубящих архангелов и рядового воинства их, ангелов добра и зла, о сатанинском отродье последних, дед-богомolec говорил мало. Оно и ясно: душа играет, когда в дружеском хоре ты с ангелами, живешь божественными мелодиями и напевами. Глубоко вникал некогда Саваоф в вопросы веры, начитанным был по этой части. Богатое воображение позволяло ему в минуты особого просветления воочию будто видеть, как рядовые трудящиеся духи, когда подготовлены к небу, снимают свои рабочие робы и одеваются в новые сияющие, становясь ангелами. Это как бы подобие такого, известного многим в России в XXI веке ритуала, как торжественный процесс инаугурации мэров и губернаторов. В ангельском мире действо являлось красочным. Ангелы получали одеяния с крыльями синего, желтого и серебристого или золотого цвета. И готовы теперь летать по воздуху, вкушать в садах райских приятный и сладкий нектар и аромат различных цветов. *Люди-птицы становятся реальностью. Видел я в Интернете снимок двух аэронавтов, сфотографированными в воздухе рядом с самолетами. По словам руководителя команды Пола Штайнера, это был первый случай, когда люди и самолеты летали вместе настолько близко. Экстремалам, разогнавшимся до скорости 193 км/ч, удавалось даже обогнать планеры. «Как правило, весь смысл заключается в том, чтобы остаться как можно дальше от других летающих объектов, – рассказывает Штайнер. – Вместо этого мы направились прямо к ним и даже смогли посмотреть пилотам в глаза. У меня до сих пор мурашки по коже. Это первый в своем роде трюк».* Сеня по наивности и воспринятому в школе был чисто стихийный материалист, что являлось для него как нечто само собой разумеющееся: нет бога и все тут. Не об чем, как говорят хоперцы, гутарить. Удивлялся Сеня с искренностью ребенка, как это можно верить в какого-то идола, который не существует, и ему давно чисто по-соседски хотелось потолковать с Саваофом о церковных делах и о вере. Момент, кажется, наступил. Но позыв души Сени омрачило одно обстоятельство. Ему показалось, будто старик подморгнул всевышнему, глянув зырком на небо и сказав будто глазами распорядителю вышних милостей: *«Извини, милоч, надо наставить на путь истинный эту овечку».* *«Это я-то овечка?»*, – вскипел внутренне уязвленный Сеня. *Понятна вспышка моего героя. Пастух Сантьяго у Коэльо думал: «Хорошо овцам, ничего не нужно решать». Такой овцой Сеня не желал пребывать на этом свете: не для того рожден был как человек. И только поддержать его можно в этом.*

– А анекдот хошь, дед? – выпалил Сеня с обидой, ужалив Саваофа недобрым взглядом. Дед тоже не стал церемониться.

– На шута анекдот мне. Нужна правда, а не анекдот. Хоть без бреху не бывает у русского человека.

Сеня рассказал-таки сальный анекдот деду. Ткнул его носом в бабью писю.

Старик сипло смеялся, пока его смех не прервался кашлем. Вытерев слезы, он весело, загораясь в оживлении, заговорил:

– А как русский к вилিপуту приехал, не слышал? Отчим твой, покойничек, царствие ему небесное, Илья Лукич рассказывал.

– Жил был пескарь в Хопре, и мама с папой были у него умные. Значит, и он не дурак. Ты мне зубы-то не заговаривай.

Сеню все также уязвляла обнаруженная им у Саваофа улыбка беса. Каким это отродье представлялось Сене обликом, про то Автору неизвестно. Но о нем речь, о бесе. В Сене заговорил воинствующий материалист. Голова его не была не болотной кочкой, не капустным вилокком, конечно же, в ней что-то неслышно шурхнуло, как переключилось кнопочно (мне все мерещатся сейчас компьютерные клавиши, ЛК, ПК, умолчания и прочее). Сене было не до умолчаний: он решил наповал сразить верующего своего собеседника:

– Почему, дед, вода святая?

Саваоф пыхнул самокруткой.

– Потому что поп брехло. В серебряной посуде есть ена, она все биктерии убивает.

– Ну, и фрукт ты, дед.

– Откуда все люди произошли? – смиренно спросил Саваоф.

– От обезьяны, – оскалился Сеня. – Про Дарвина слышал?

– Кто ж тогда был первым *пробным* человеком у господ бога? – парировал вопросом второй дуэлянт.

– Де-ед, смени пластинку, не брей лысого, – загудел Сеня. – Спать давай.

– Спать?! Ххе-хе-хе-хе! Мы и так проспали царствие небесное. Вы видели Иисуса Христа? А он пришел в духе святом и вочеловечился и создал вашего прародителя Адама.

– А вашего тоже, дедово ваше сиятельство, – огрызнулся Сеня. Но Саваоф на этот выпад молодого соседа не среагировал и все так же учительно продолжал:

– И вот гуляет Адам в раю среди яблонь-анисовок, а сад за экономией у озера был у него. Как у нас вот тут, в Таловке – садик-садок. Ходил, ходил, значит, он, и сон преклонил его, уснул Адам. Прогуливался в саду и господь. Ну, как вот, положим, Никита.

Саваоф повернулся к гостю таловскому и продолжил:

– Странновольный, как отпускник наш из страны белых снегов и белых одежд. Так ведь, Никитушка? Радиво тростит, что все вы там патриёты, что на вас не токмо Россия смотрит, а и мир весь сущий, путь ему вы будто указываете или укажете. Я, милок, радиво слушаю.

Никита не стал ни в чем разубеждать Саваофа и тем более – перечить ему. Он согласно кивнул головой и ответил скороговорно, что так, мол, так. И с интересом слушал далее любопытного этого дедулю, впитывая услышанное в кровоток. Все тут было новье Никите, все ложилось на белый лист его души, как слова библейского какого-то повествования:

– И вот скушно стало господу богу, а ему ж, как и человеку любому жить интересно хочется. *Астров ...Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, – те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми, а мы... У нас с тобою только одна надежда и есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные. (Вздыхнув.) Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас; она своими гнилыми испарениями отравила нашу*

кровь, и мы стали такими же пошляками, как все (Из «Дяди Вани» Чехова). Подошел он к Адаму, взял у него левое ребро, дунул-плюнул, поцеловал вдобавок, и нате вам, Адам-милок, женушку, женщину сладенькую. Проснулся тот – вроде женщина рядом с ним.

– Кто ж еще? – риторически спросил, язвя и не находя пока успокоения потревоженной его душе, Сеня. – Не знаешь, дед?

– Почему ж не знаем, что Ева? – спокойненько отпарировал ему Саваоф, которому библия давно уже была сводом небесным со звездами откровений божьих. – Стало миру с тех пор, как песку на морском берегу, грех не кончается... Помни-тя раз навсегда: суд божий при дверях. Все сгорит, только семь церквей на земном шаре останется.

День был хороший, возбужденно-рабочий. Позвонил из Москвы Олег Кириллович Гусев. Сообщил, что получил мой томище «Самотлорский Спартак». «Какую гигантскую работу проделали вы, Александр Петрович!» – воскликнул мой друг-байкалец. Сообщил, что умерла его жена Елена Павловна, с которой прожили душа в душу 38 лет, что тяжело ему, страдает. А я задумал с внуком Илюнькой и женой съездить летом на Байкал, обновить впечатления и пополнить новыми страницами писанное в «Байкале державном», что является собой роман в романе «Дом под звездами». Понимая, что не к месту будет мое предложение, я все-таки сказал Олегу Кирилловичу, что было бы здорово, если бы в нашей экспедиции был и он. «Нет, нет, нет, извините, Александр Петрович, мне тяжело...», – ответил Гусев. А ведь некий бородач Марк-П Казимировский, написавший достаточно интересный рассказик о странствии по Байкалу, вспомнил 15 июля 2012 именно Олега Кирилловича Гусева. Имя не названо. Просто, обсуждая в Сети с друзьями свое путевое творение, он написал: «Читал как-то недавно книжку, что-то вроде такого дневника, написал мужик (тогда парень), который вдвоем с другом ухитрился за одно лето на лодочке пройти по всему байкальскому периметру (это тыщи две км) – ну, где на буксире, где как, а большие – на хилом «Вихорьке» да на веслах...» Один пеши по берегу шел, это и был Гусев, второй на лодке его сопровождал...

Другого такого человека в истории Байкала не было. Здорово же это – путь кружной вокруг него преодолеть... Ныне лишь скажешь с печалью: укатали сивку крутые горки...

Я попросил у Гусева адрес общего нашего друга из Баргузинского заповедника Жени Побережного, и узнал с горечью, что он умер в 2009 году. Выразил я соболезнования Олегу Кирилловичу биниально – за его жену и за байкальского мышеведа. «А жена его Людмила Михайловна живет в Давше, где и похоронила мужа, – услышал я от Гусева. – За фотографии соболей, которые устроили нашествие на центральную усадьбу заповедника в морозный и голодный год и стали почти ручными, мы в охотничьем журнале своем присудили ей первое призовое место». Журнал был у меня под рукой. Я стал смотреть на трогательные мордашки соболей на ветках и в интерьере жилищ. Один, как и был сфотографирован в момент «фотосессии», устроенной Людмилой Черникиной, ожил вдруг. По-эйнштейновски вытянутый красный язык вспыхнул, словно язычок пламени и в глазах соболя загорелся лукавый блеск. Потом главный редактор журнала «Охота и охотничье хозяйство» начал понуждать природоохранного министра Трутнева за новый разгром первого российского заповедника, который слили с Байкальским, который находится на другой стороне чудо-озера, что функционально, по целям они совершенно разные. Я абсолютно солидарно вознегодовал за вредительскую деятельность большого государственного Трутня. Смыкались его реформации с «ЭГЕовизмом» министра народного образования Фурсенко, который устроил непотребный фривайл всей школьной системе и которого давно надо было гнать со своего поста в три шеи. Я тут же написал болевое письмо в Давше Людмиле Михайловне Черникиной, что собираюсь летом побывать там. Вот буквальные строки моего почтового послания:

«Узнал, что Трутнев учиняет разбой над многострадальным Баргузинским заповедником. Хотелось бы побывать в Давше да по-писательски глянуть на все самому.

Узнал я, что директором не Янкус теперь, а Лесото. В любом случае большой привет им от меня.

Летом, примерно в июле я собираюсь на Байкал с внуком-пятиклассником ныне Илюшей и женой Ниной Яковлевной... В планах **наполеоновских** у меня побывать в трех углах Байкала, в Котах, в Танхое у вдовы Саши Субботины Людмилы (Хамар-Дабанский заповедник) и у вас в Давшие. Как добираются к вам из Улан-Уде?

В общем, напишите, Людмила Михайловна. Расскажите, пожалуйста, что и как сейчас у вас в Давшие. Где официально находится контора заповедника? Кто уехал из специалистов, кто остался? Каков быт ваш? Есть ли магазин и больничка? Как почту доставляют? Как выбираетесь на «материк»? Сохранился ли музей заповедника? А фенологическая площадка? Не заедают ли медведи? Сосновский кордон мне вельми интересен. Живы ли Иван Свиридович с его хлопотуньей Евдокией? Что слышно о лосихе Тачанде, которую выкормили и вырастили всем населением Давши, можно сказать, когда осиротела она в тайге? Напишите обо всем, в общем.

Я написал письма друзьям и товарищам на Байкал, жду ответов. Теперь вот настала и ваша очередь.

Чтобы как-то согреть вас в глухом баргузинском углу, тем более, что в ваших краях ныне трескучие морозы (**возможно новое нашествие на Давшие голодных соболей**), посылаю извлечения из трех своих книг, где рассказываю о Жене Черникине и о вас, о своих байкальских встречах. Это Жене мой виртуальный памятник. Поклонитесь за меня его могилке».

Через два часа я был уже на Главпочтамте. С отправкой письма возникла заковыка: оказалось, в Давшие теперь нет почты, ясно стало, что ликвиднули всю социалку. Конверт мой приняли в адрес соседнего почтового отделения, а это на карте байкальской лапоть один, может быть, в 200—300 километров. Вечером шарился по Интернету и увидел воочию как бы нынешний слезно-жалкий вид «столицы» бывлой Баргузинского заповедника: «У кромки древней байкальской террасы белеет горстка домов поселка». Сердце мое сжалось. Катастрофа же натуральная! Не горстка домов белела для моего возбужденного мозга, а горстка пепла... Надо было, однако, делать свою писательскую работу. Продолжил освоение трехтомника Борхеса, «новое исследование»: «О „Ватек“ Уильяма Бекфорда». Помечаю мягким карандашиком про достаточно простой сюжет «Ватек». Его заглавный герой, Харун ибн Альмутасим Ватик Била, девятый халиф династии Аббасидов, велит воздвигнуть вавилонскую башню, чтобы читать письма святил. И вот Ватек предается магии и слышит голос исчезнувшего торговца из темноты. Тот призывает его отступить от мусульманской веры и воздать почести силам мрака. Тогда ему открывается дворец подземного пламени с сокровищами. Купец требует сорока человеческих жертв... Пробегают кровавые годы, и в конце концов Ватек, чья душа почернела от преступлений, оказывается у безлюдной горы. Земля расступается, Ватек с ужасом и надеждой сходит в глубины мира. По великолепным галереям подземного дворца бродят молчаливые и бледные толпы избегающих друг друга людей. Торговец не обманул Ватек: во Дворце подземного пламени не счесть сокровищ, но это – Ад...

Подошла полночь, мой сонный мозг стал сникать. Я уместился на диване и в момент погрузился в сон. Часа через два видение. Фасад губернаторского дома с колоннами, белые колонны областного драматического театра, на открытии которого артист Яковлев с известной всем его эмоцией воскликнул: «Лепота!» И то и другое здание в чудесной фотоакварелистике изображены были на конвертах, десятка два которых я купил прозапас на Почтамте. Чей-то голос: «Мир – лажа, сплошная лажанка, это фальшивые сущности». И в безмолвном пламени вспыхнули строгою чередой дом губернатора, здание театра, исторический корпус Строительной академии на горе, соседствующий с ним монастырь с золотыми куполами и другие жемчужины архитектурного наследия города. Я вмиг проснулся. Мозг утренний, свежий. Сел за компьютер и думаю, что сон вещий какой-то...

– Из кривого ребра Адама твой поп, как и ты, дед, такой же, наверно, брехло, – заявил Сеня звенящим голосом праведника.

Потом он прицельно прищурил один глаз.

– Какая польза от церквей? – Какая польза от дождя? Не будет его – вода пересохнет, оглодаем. Пойдешь на Восток на золото и серебро хлеба выменивать.

Сеня зло сплюнул.

– Бога нет! Не дои ты козла. *Не подставляй решето, Сенечка! Не было на белом свете и бегемота Багамута, однако ж молва о нем в аравийской пустыне такова, что живее всех живых мнится людям там Багамут этот, что пережил преобразования в слона или гиппопотама, а потом и в рыбу. Столь громаден он и ослепителен, если верить всезнающему Борхесу и мусульманской легенде, что глазам человеческим не под силу его лицезреть. Все моря земные, коль поместить их в одну ноздрю легендарной рыбы, будут что горчичное зерно, брошенное среди пустыни. «Но откуда ж рыба?» – спросишь ты, Сенечка. Откуда, откуда, из той же легенды: «Бог сотворил Землю, но у земли не было основания, посему под землей он сотворил ангела. Но у ангела не было основания, посему под ногами ангела он сотворил рубиновую скалу. Но у скалы не было основания, посему под скалой он сотворил быка с четырьмя тысячами ушей, ноздрей, пастей, языков и ног. Но у быка не было основания, посему он сотворил под быком рыбу по имени Багамут и под рыбой он поместил воду, а под водой мрак, а далее знание человеческое не способно достичь». Представление о том, что скала покоится на быке, а бык на Багамуте, а Багамут на чем-то еще – чудная иллюстрация к космологическому доказательству существования Бога. Всякая причина, в общем, должна иметь предшествующую ей причину, и таким образом, дабы не прийти к дурной бесконечности, Сенечка, необходима некая первопричина. В твоём случае это верящий в Бога Саваоф. Смирись, атеист доморощенный.*

– Дурак! – с таким же энтузиазмом произнес Саваоф. Мысль его, как должно быть понятно читателю, не была соткана из света и не влетела в душу Сени, как луч. И Саваоф вдохновенно продолжил свой труд, черновую апостольскую работу.

– Бог дух, бог отец, бог сын святой. Чем дышите вы? Воздухом, даденным богом вам. Если б не господь, сатана истребил бы вас давно всех. Но вечная жизнь бесконечная. *Если мы достигнем конца пути, человеческий дух иссохнет и умрет (Стивен Хокинг).* В этом божеская правда. Стойте за нее и будете блаженны. Вы, молодые, наследуете царствие небесное. Имейте праведное горчичное зерно каждый из вас, и не истребить правду, ничего невозможного не будет для вас. Разве ж не сказано в Евангелии, что у кого хоть на одно такое зерно веры, тот горы поднимать может с места.

Честно признаюсь, читатель, пишу эти строки, и артикулируется для меня царствие небесное домом нашим под звездами, что в нынешнем нашем осознании всегда должны держать мы в уме, мысля, как жить в нем всем нам, землянам, памятуя, что «самая продолжительная жизнь ничем не отличается от самой краткой. Ведь настоящее для всех равно, а следовательно, равны и потери = и сводятся они всего-навсего к мгновению. Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего» (**Марк Аврелий Антоний**). Насчет же «ничего невозможного» тоже ясность полная: все мы боги, если живем праведно и творим в полную меру даденных нам природой способностей и талантов.

Вознеслась будто моя душа гейзером света над благословенным этим уголком Вселенной, над лавочкой с дедом Саваофом с апостольской его работой, над бедолажным Сеней и внимающим сердцем им обоим Никитой, над домом с соломенной крышей, над пышущими жаром перекальными песками, над сосняками и благостно текущими водами Хопра, над уездным городишком на круче его берега. И думаться стало мне, что тогда лишь живет человек, крылатаясь, когда устремляется мыслью в горние выси, к безграничным просторам творчества и созидания. Не пускает жизнь по глиссаде снижения, как скользят ею на встречу с Землей уставшие самолеты, а встречу этой глиссаде стремится. Как не вспомнишь лишний раз «совре-

менника по человечеству», как бы сказал Омельчук, товарища своего из нашего поколения комсы Валентина Никитина, который родился в концлагере, потерял часть руки, став инвалидом, но себя не потерял. Выучился, протрубил жизнь на Северах, геройски, можно сказать, с огнем Павки Корчагина в душе, и кипит в буче наших дней, душу пенсионерству не сдавая, как общественник. И дерзающий писать нечто о товарищах своих комсомольских, вгрызается в Слово, скребется-кажилится неустанно, все новые и новые детали ему подавай, мистер-твистер герой или миссиз героиня. *Не оскудеет пусть жажда дерзновений! (Навеяно И. Гёте)* Как, да чего, да почему? В глубь самую лезет: слово-истина это ж что волна-частица, попробуй за хвост улови. Но – ловит курилка, черт его дерит, и трогательно и радостно словеснику-профессионалу следить за цирком этим со стороны. Скажешь лишь себе мысленно: «Век кувыряться с этим и мне и тебе, Валя: стезя это хомо криенса, искателя». У любимца моего Эмерсона есть замечательная максима: «Мир – это устремленный разум». Я двумя руками писал в первых классах, чтобы сбить трясучку болезную, выкорякивал буковки, держа, как топор, ручку. Тут нет такой возможности. Но другая рука есть, и это счастье! Безрукий идет, безногий – мыслит. *Мощно помыслил о счастье мой друг Юрий Цырин. Будучи десятиклассником, написал юноша-ангарчанин в стихе:*

*Петух бывает счастлив на шесте,
Орел бывает счастлив на вершине.
Скажи, а мы в житейской суете
Вопрос о счастье для себя решили?
Взгляни, коль тени бродят по душе,
Не счастье ли ей выбрать тесно,
Орлу б, наверно, был неплох и шест,
Когда б была вершина неизвестна.*

И призывно звучало в записках писателя старого времени Телешова: «Работайте, пробивайтесь! Но идите только в гору, а не под гору. Жизнь сильна девятым валом. В затишье – не жизнь, а прозябанье». С возрастом, оно еще понятно, но не дай бог, если захватит человека такая глассадность в молодости, даст слабину себе человек, погнавшись за утехами и телесными только уладами жизни, кувырками под оделом, когда б следовало бежать плоти по заповеди Порфирия, одолевать начнут его вещность, ползучий материализм, гнида эта подлая. И как не вспомнишь тут Александра Сергеевича Пушкина. Истинно, каждый порыв из вещественности драгоценен. *Понимали хорошо эту шумеры, пословица которых гласила: пожитки как в воздухе птицы, не знают, куда приземлиться. Без намека суть понимали люди, что лишнее в подлунном мире, а что нет...* Способность человека к этому Жан Поль Сартр считал «благородным почерком человеческой свободы». Распоследнее это дело человека – смириться с пленом вещественности. Вот и призывал Хайям:

*Сбрось обузу корысти, тщеславия гнет,
Злом опутанный, вырвись из этих тенет.
Пей вино и расчесывай локоны милой:
День пройдет незаметно и жизнь промелькнет...
Не спеши, посиди на траве, под которой
Скоро будешь лежать, никуда не спеша.*

Умнейший экономист минувшего века Джон Мейнард Кейнс мыслит умные подходы к потребилровке. Точно цитирую: «Находясь под влиянием различных побуждений и стимулов, склонность к потреблению определяет для каждого индивидуума, сколько он потребит

из своего дохода и сколько он зарезервирует из него в какой-либо форме, обеспечивающей ему распоряжение будущим потреблением». Читаю у него также, что теоретики классической школы похожи на приверженцев эвклидовой геометрии в неэвклидовом мире, когда, убеждаясь на опыте, что **прямые, по всем данным параллельные, часто пересекаются, не видят никакой другой возможности предотвратить злосчастные столкновения, как бранить эти линии за то, что они не держатся прямо.** Сложная мысль? Конечно, это высшая математика Кейнса. И суть этой формулы – о психологических склонностях людей к потреблению. Альтернатива ему – взлет в вертикали духа, что сотворяется вопреки глоссаде жизни. Слава классикам! А пафос, воздевание рук, восклицания, многословие – толкотня на горизонтали. По философии Никодима Недоумко из дореволюционного века, пока сильные, могучие Полканы-богатыри, обутые в семимильные сапоги всеведующего невежества, с гордым презрением к тесным пределам душевной вещественной атмосферы, поднимаются, от земли отделяются выше облака ходячего, ниже леса стоячего, мы, скромные пешеходы, бредем по земной поверхности потихоньку и полегоньку. Смелые, в общем, полкают, трусоватые пресмыкаются червями. Плюющий на небо свой подбородок заплевывает. *Выразительная, надо сказать, часть в облике человека. И что любопытно, о чем акцентно говорит Малькольм де Шазаль, – исключительная это человеческая особенность. Найдите попробуйте подбородок у зверей – нетути его у них. Да будь у них подбородки, как восклицает тот же Шазаль, большинство животных были бы неотличимы один от другого. Человеку подбородок дан, чтобы притупить на общем фоне лица неповторимость рта и глаз, а иначе каждый бы из нас образовывал отдельный биологический вид. Да-да, и люди просто бы позапутались, ху есть ху как вид...* Скажет иной читатель-зоил: ну, понесло Мищенко на проповеди, как Саваофа. Вольтанулся мужик. Скажет сейчас всенепременнейше: жить надо достойно. И скажу, едрена ворона! Но век же призывали нас к этому апостолы социализма. Чтоб бессребрениками были, прежде думали о Родине, а потом о себе, будто не являем мы саму плоть ее во всеобщей людской совместности. Высокой целью чтоб жили. Да, высокие цели надо ставить перед собой и достойно пытаться прожить отмеренный тебе судьбою срок. Но достойно – комфортно, для души и для тела. Бедность унижает, голод вообще убивает дух. *Передали вести по телевизору недавно от прорицателей по линии ООН, что через сорок лет при таком хозяйствовании в мире да природе населения в три миллиарда начнется на Земле тотальный голод. Оно б ничего, в голову б себе не взял. Но документный парнишка на телеэкране, худющий негритенок. Щеки впалые, как у старика, в глазенках недоумение и еще что-то мало выразимое словами – от этого не отвертеться. Взгляд мальчика пронзает и прожигает сознание и все нутро, и чувствуешь себя старым дуплистым деревом, у которого нутро все выжгло.* Наше поколение знает цену и словам и словесам, истинно человеческим целям и фантомным призывам шаманствующих политиков. Войну мы пережили, голод, ободранное детство. *Читаю на даче подаренную мне книгу воспоминаний калмычки Людмилы Ульяновой, встреченной мной у «человека в белых одеждах», которым он никогда почти не изменяет, Леонида Иванова в Нефтегазе, «Боль и радость души моей». Из детдома она родом, только и скажешь о ней. Щемят сердце строки грустного бытия авторницы в детстве. «Оказалось, что отец моей сестры Галины Михаил по неизвестной мне причине повесился на деревенской мельнице еще до моего рождения, – пишет она. – В колхозном доме мы жили в маленькой комнате с двумя окнами, выходившими на чей-то скотный двор, и я постоянно видела там копошащихся в грязи свиней. Обстановка наша была убогой. Печь с плитой, сбитый из неструганных досок стол, стул и ржавая кровать, где вместо матраца было набросано всякое тряпье. Даже одеяла и подушки у нас никогда не было, а уж о постельном белье и говорить не приходится. Время было трудное, суровое, голодное». От таких страниц глубже Волги тоска охватывает...* Да, боже мой! Чего только не выпадало на нашу долю. *Хоть и знаю я одного сытого умника, что язвил по случаю, на меня намякивая: сейчас, мол, старик живописать начнет, как голодал, лебеду ел и пузо*

*у него пухло. Слов не хватает на эту сволочь. И усвоилось в зрелости, что человеку должны быть созданы все условия для достойной именно жизни, а не для прозябания у дураков только жизнь ни шатко, ни валко шла, нормальные люди страдали, и ясно это: бог дурака, поваля, кормит, тем более – номинального, похожего лишь на человеچه, существования. **Трудящийся достоин пропитания (Матф. 10.10).** И биниальное с этим: **Трудящийся достоин награды за труды свои (Тим. 5, 18).** Деньги, вещи, одежда, крыша над головой, тепло и свет, комфортные условия общежития нашего на просторах Отечества. Дороги и туалеты классные. Туалетизация, однако, родня бюрократизации, одними дорожками они ходят. Но разнятся при том колоссально. Что касается туалетов, то история умалчивается о том, кто и когда впервые начал справлять нужду в одном и том же месте. Несомненно, однако, одно: тот, кто начал справлять нужду не где ему взбриндило, а в одном месте, первым встал на путь цивилизации. Не хотелось бы добивать Россию туалетами. Туалеты в России, конечно, есть. И значительно больше чем при Советской власти: коммунисты, вероятно, считали, что народ живёт только их идеями, забывая обо всём остальном. На Руси у нас биниальность на биниальности сидит и биниальностью погоняет. Такое кучерство. Кучеряво живем!*

– Да, ничего невозможного не будет для вас, милки, в жизни вашей, да-да, горчичное лишь зерно правды имей-тя в себе, и все получится у вас, что желается, – повторил назидательно истовый таловский богомолец и далее повел речь: – И не будут перемалывать землю тогда по указке вашего откормтреста. Души же людей перемалываются, а не земля. И кому ж ты перемолотый нужен будешь теперь, Сеня милый? Как иссохшая трава будешь. Все-оо стогрит, так и знай-тя! Мы дети одного отца небесного. Надо признать и крепко положить: «Прости нас, господи!» Бог кротко умирал за грехи наши. Живых будет судить по делам. Уверовал – хорошо. Нет – низвергнет в преисподнюю земную и скажет: «Отшибить голову этому гражданину!» Горе будет упоенному веселием и вином, Сеня, кто прешпекты только утаптывает. Роскошная жизнь – потерянная жизнь.

Саваоф читал свою проповедь, и страсть веры все более овладевала им. Проповедь – жанр души русского человека. Свойственно нам советовать другим, наставлять, поучать, опыт свой передавать. Кручусь вот в городе, в автобусе ли еду, в магазине ли нахожусь, в присутственном месте каком-то, иду ли по улице – обостренно вдруг улавливать стал по жестам, словам, взгляду, настрою, что проповедует человек нечто. Подумал: какая-то загадка есть в этом. Отгадку нашел у М. М. Пришвина, раскусил он таких проповедников. Раздел догола будто, объяснив многое: «Читать мораль доставляет удовольствие, потому что, отчитывая, человек, в сущности, говорит о себе, а это очень приятно, и это есть своего рода творчество с обратным действием, то есть не освобождающим, а угнетающим, – творчество бездарных людей». *О таких примерно людях в записной книжке у А. П. Чехова: «Кардинский, подобно князю и Вареникову, дает всем советы:*

- Я у себя посеял вику с овсом.
- Напрасно. Лучшие бы посеяли trifolium (клевер).
- Я завел свинью...
- Напрасно. Лучшие бы лошадь».

Страсть, говорят, рождает буйную слепоту, но есть у нее и ценнейшее качество – искренность, а это адамант в нашей жизни. Редкий, сияющий, как кристалл горного хрусталя. Она что-то и будила в Никите, трогала в душе его самое болевое, нажитые уже в жизни им раны. *На боли мир стоит. Так вроде бы. И не так. Искусство – это точно! Гляжу на «Портрет женищины с сожженным лицом». Она не была на фронте. Но за два дня до войны ее любимого мужа-военного отправили в Брестскую крепость. Она тоже должна была поехать туда чуть позже. Услышав по радио о начале войны, женищина эта упала в обморок – лицом в горящую печь. Ее мужа, как она догадалась, уже не было в живых. Когда художник рисовал ее, она пела ему прекрасные народные песни... Зерна правды вышелушенными из церковной симво-*

лики падали в его душу. И Никита слышал о молодых, которые получают в наследство Землю, о том, что будет цвести она, как лазоревые цветы прихонерской степи, пока будут преданы делу отцов новые ее хозяева.

Сеня со вниманием зыркнул взглядом на Саваофа.

– А ты, дед, газеты читаешь, блин?

Тот с достоинством кивнул головой.

– А как же, Сеня-милок? Господь всю Землю разом видит, все скорби людей слышит, и мы, слуги его и рабы о всех братьях во Христе должны думать. Вот и должен я газеты читать, мир весь видеть.

Поймав на себе огнистый выскерк в глазах Саваофа, Никита подумал, сколько ж энергии выжгла в нем слепая вера в Христа. И остро, пронзившая его иглою будто, жалость вспыхнула у Никиты к немощному теперь старику, чеканувшемуся словно на вере в бога. Он жил ею теперь, как наркотиком, будто кололся морфием, возбуждая себя. Может быть, самоучку-селекционера в себе загубил этой отравой. А Никита верил и в огромные его блямбы-подсолнухи, и в буйную, как лен, пшеницу, и в гигантские яблоки, а они, по молве в Таловке, упав с ветки, разваливались, как арбуз, на две половинки. О таких яблоках, подсолнухах и колосьях пшеницы, о чудодейной агрономии, о том, чтобы поля тучные и сады стали мерой всеобщего счастья, грезил Никита, как казалось ему теперь, в школьные годы. Сеню ж душили не раз слезы, что бросил он по нужде и уму дурному школу после семи классов.

Не без тайных надежд потянулся сельский парубок сердцем к будущей жене Наталке, думал: грамотная она и поможет ему в вечерке учиться, в техникум или институт поступить. Но затоптали хрюшки, телки и прочая живность в семействе тестя поле надежд и мечтаний, которое он возделывал в душе своей, смели повозки быта и сад. Потерял Сеня и небо: неоткуда было смотреть на него. И заблудился в он в жизни, попав в ее тенета.

– Сеньк, Сеньк, – толкнул его под бок Саваоф, решив вооружить «заблудшую овечью душу» спасительным знанием об окружающем мире. – Господь сотворил и небу, и землю, и солнце, и луну, и рай-дугу.

– Чего-чего? – встрепенулся Сеня. – Радугу, блин?

– Ее самую, рай-дугу, – мечтательно проговорил Саваоф, подняв глаза вверх. – Небу украсил звездой голубой. Я, Сеня, бывает, выйду ночью на улицу, сяду сюда на лавочку и смотрю во-он туда. Около трубы над крышей там крест Петров. А трехсветильник еще есть у престола господня, ковшик божий. Вот и сижу я, любуюсь звездами.

Сеня проницательно, выщупывая душу его, глянул на Саваофа.

– Ты, дед, в бога по правде верующий или так трепешься?

– По правде, Сеня. Верь мне, как священнику.

– Священники брещут, как и ты.

Старик взъершился.

– Не бей-тя их по лбу, а себя бей-тя. Они свидетели, они принимают крест божий. И ничего не боятся. Знаешь, что были такие нестриженцы? Они тюрьмы прошли за веру, жизнь отдали.

– А почему различия – стриженцы и нестриженцы?

– А почему-то правая и левая сторона есть? *Владимир Иванович Вернадский серьезно пытался разобраться в этом в классическом своем труде «Научная мысль как планетное явление», ибо правые есть закрученности материи и левые и симметрия и асимметрия – признак живого или мервого. Психозойская же эра истории Земли (Чарлз Шухерт) потрясает переменами, когда «вместо поверхностных, пластовых вод, почв и источников, создаются новые культурные воды». И не их ли явит космолюдинству планеты нашей биокомпьютерное будущее, какое так или иначе вырисовывается перед человечеством? Так и в вере?*

– Когда ты кончишь голову мне морочить с богом своим?

– Ни-когда! С Богом расстанно не живут, милоч. *Вмиг вспыхнул в сознании моем эпизод этот. Конец января. По всей России ударили аномальные морозы. По шутке язвительного Коффбоя в Твиттере, «лишь в Якутске легкий морозец» (что им якутам минус 50? Семечки) ... Ноги мои в аккурат с нового года уже прихватило, будто замерзли они, стали отстегиваться. Прибегнул к помощи массажиста Саши Шелудкова, занимавшегося в моем литобъединении «Факел». Лежу на диване в своем рабочем кабинете, а он железистыми своими лапами дерет мои конечности, вливая в них целебную энергию. Предпоследний сеанс. Пошел второй час его. Лекарёк мой, наконец, встряхнул свои руки и сказал с веселинкой:*

– Все на сегодня, Александр Петрович! Готовься потихоньку к пробежкам...

Я включил телевизор, в ожидании «Вестей» поймал Шансон ТВ. Импозантный бард со смолью концертно ухоженной бороды, вероятно, бывший зек, запел:

*Пойду я с Господом по лесу,
По зонам, лагерям...*

Чуткий к слову воспитанник мой вперил слабовидящие свои глаза через толстые линзы очков, уши донесли до него смысл песни, и Саша взвился:

– С Богом в тюрьгу, во как! А где он был, миляга, когда преступал закон и, может, кого-нибудь убивал? Сейчас лишь покаяние одно впору.

А бард изливал со сцены про Христа распятого и поход с ним в обнимку... Не один певун этот после черных дел выходит на сцену жизни с Господом и умильно его прославляет... Картинка типичная. Хоть в легионы ангелов верстай криминальное воинство их...

Саваоф глянул на Сеню нахальным, как тому показалось, взглядом, и он встречь такому ответу деда спросил:

– А почему отрекаются отцы духовные от престола?

Старик долго думал, кряхтел и чесал затылок.

– Сердце не перерабатывает, и неверие происходит.

Сеня начал приосаниваться.

– Чего, чего это не перерабатывает сердце? Информации, поступающей с неба? Да-да-да, она вам жить не дает, век такой, что и в церквах ЭВМ ставить надо.

Саваоф теряться стал от этого трехбуквия – ЭВМ и всего пассажи Сени. М-да, это не трехсветильник со звездой голубой.

На лице Сени вспыхнул победный огонь: положил он старика на лопатки, прижал его так прижал.

Но для верняка в победе Сеня задал еще один вопрос:

– Что дает вера?

– Жизнь оно, конечно, не продлишь, – рассудительно заговорил Саваоф. – Харчей с неба бог не кинет. Нет тут пустыни с сухариками. Что в огороде, в полюшке, то и в магазине.

Поток красноречия Саваофа стал иссякать.

– Так-то, дед, – заявил с победной миной на лице Сеня, – и сказать нечего. Не разводи в другой раз антимионии до высших экстазов. А свербит – попробуй сухари в печи сушить. Это здорово интересно. Мне, знаешь, твои тили-тили печенки пропилили.

Схватки с дедом-Саваофом на церковные темы случались у Сени не раз, и эта оказалась как бы венечной, будто на ринге встретился с ним молодой бедолага-сосед. И выиграл он бой. Не прошли даром ранешние тренировки. *Подумал я тут чисто Авторски о другом Сене, тренере по боксу из спортивного клуба «Лайнес», к занятиям в котором пристрастился я на семьдесят пятом году жизни. Не новичком стал в зале бокса. Колошматил «груши», представляя в такие моменты лица эглобов, с которыми здорово измытарился, издавая свои*

книги. Так вот, тренируя своих питомцев, Сеня подсказывал походя мне: *«Нарабатывайте кулаки, товарищ писатель, это очень полезно. Да бейте от подбородка с закруткой. Почему от подбородка? Всегда сможете отбить прямой удар в открытую челюсть»*. Я соглашался с тренером, размышляя о неистощимом коварстве жлобья всякого...

– Ладно, вострый ты на язык, Сеня, – примирительно проговорил Саваоф. Но с поражением он не смирился.

– А Иссарионьча ты знаешь? – вскинулся Саваоф. – Не-ет, не знаешь.

И Саваоф с удовлетворением оттопырил губу.

– То то ж. Он войну вынес... Такие трудности. Двести грамм хлеба и кружка воды несоленой счастьем были тогда, милый Сеня. Барду гнилую возили скоту со спиртзавода, высасывали из нее сочек, тем и питались. Чем скот, тем и люди. Такая жизнь была.

– Ты, дед, в колхозе тогда работал или как? – учтиво, но затаенно меж тем спросил его Сеня: интересно было ему узнать, правду ли говорили старухи в Таловке, что был в свои годы Саваоф крепким единоличником, и может быть, и кулаком даже. Мироедом они его не называли, правда, но подчеркивали, что богато жил, ходил в лаковых сапогах, на сельскохозяйственных выставках в уезде премии не раз получал за образцовое земледелие. Жеребец Винзор у Саваофа будто бы на всю Россию славился. Заржет он, как лев, бывало, – на разъезде в пяти километрах слышно. *«Что «Авдотья моя» у Глеба Успенского, «горло у нея здоровое: как начала входить во вкус, горло-то драсть... на пять верст слышно...»* Золотую медаль в Новопокровске вручили за него хозяину и семь рублей. «Ох, и конь был, ох, и конишше, – говорила, покачивая головой, одна древняя, поросшая мхом старуха. – По всей России щетыре таких жеребца и нащитывалось. Красавец Винзор был, как паровоз идет, бывало, по улице. Щерт огненный, а не конь, ух, и силен был сатанюка!»

В этой части биографии Саваофа у Сени сомнений не возникало. Верил он в георгиевские кресты его, а в то, что был генералом – нет, ни в какую. Саваоф и генерал – нет, нет и нет. Рассказывали старухи, что люто ругался с Советской властью он за церкви, когда рушили их, что раскулачивали его, на Соловки ссылали и никогда в колхозе он не рабатывал, а шабашил на разных сезонных работах и мильен денег у него на книжке теперь и не истратит он их до смерти.

Саваоф потеребил раздумчиво крючковатый своей нос и ответил на вопрос собеседника кратко:

– Сам себе я был колхоз, Сеня.

И это была истинная правда. Одним колхозом со всевышним жил Саваоф, обделяя себя празднично-возвышенной радостью коллективного труда. Ему казалось, что жил для людей он, ради них нес свой крест. И чем больше страсть овладевала им, тем более яростной становилась его слепота.

Фразы одной, чтобы исчерпать тему, не хватило Саваофу, однако, и он продолжил:

– Так заколотилось сердце у меня, когда церкви, храмы божии разрушать стали. А кому церква не мать, тому бог не отец. Вот и встал я непоколебимо за веру Христову, скандалил с богоненавистниками яростно, как Аввакум. *«Помнить: я – скала, окруженная водой (Галина Вишневская). Биниалится призыв великой певицы со сказанным об апостоле Петре Христом, который нарек его «скалой» или «камнем», то есть Кифой. И пришлось побывать поэтому за горами хребетскими»*.

Жил в душе Саваофа с детства и другой, мирской бог, он не имел телесного лика, а был разлит в природе и съединял Саваофа с нею. Это было то, о чем говорят в народе: «Человек рождается на труд». «Богу молись, а сам трудись», «Даровое на ветер, а трудовое в сока да в корень». Но председатель артели веры Всевышний пересилил гражданского бога, когда сошлись они биниально на жердочках мостка жизни Саваофа, и, живя среди людей, он как бы и не жил с ними, свой среди чужих, чужой среди своих.

В сознании Сени осела мысль Саваофа о храмах. «А сейчас их берегут, спохватились, что не ладно делали», – подумал он мимолетно, потому что сильно интересовало его сейчас другое: работал ли Саваоф в колхозе все-таки или нет? Этого пока Сеня не понял.

– Ты коллективизацию прекрасно помнишь? – хитро спросил он старика.

– Все-все, как тебя сейчас, – с задором ответил ему Саваоф. – Зрочки твои с булавочную головку – булькнул даже дедок: кхе-хе-хе – На масленицу было у нас раскулачивание. Начали с Нехаевых, они колеса тележные работали.

– Как брат мой в Острогжске, – ввернул свое Сеня, – работает колеса велосипедные всему району.

Не мог не подумать он, конечно, о других братьях, о маме.

– Ну, да, транспортные мастера Нехаевы, – подтвердил Саваоф. – Как твой брательник – не знаю, а Нехаевы мастера-а-а были! И приказ поступил: кулацких детей отправлять вместе с отцами. А пурга страшная была, ветер с ног сбивал, светопреставление настоящее, земля с небом перемешались. И за шкирку выбросили сперва самого Нехаева. Дети, мелюзга, ухватились за шубейку его, ползут следом, тащатся как хвост. Вот мать родна, крестовая, не вру. Бабы завывли так жутко – волосы дыбом встают, пацанва кричит, стонет. *За подобные именно зверства сибирские партийцы приговорили Сталина заочно к расстрелу. Факт это доподлинный. Обнародовал его в новой книге товарищ мой писатель Максим Осколков. «Знакомство с этой реальной историей удивляет и потрясает», – написал он. Случилось это, когда большевики Талицкого района Тюменского округа проводили партийную конференцию, связанную с первыми итогами коллективизации и обсуждением статьи товарища Сталина «Головокружение от успехов», в которой он громил зарвавшихся коллективизаторов. Какие зверства нужно было творить, чтобы в условиях тоталитарного режима власти люди решились на такое! Тут ядро мощной драмы, какую можно бы написать. По смыслу – это похлеще Тамбовского восстания. Гнуснейшее это преступление Ленина и его партии – сравить две части народа, как стравливали на арене Колизея людей и зверей. Как реплика в сторону: ныне, в XXI веке, по сценарию из Вашингтона раздувают пожар вражды между славянами у границ России, и народ стреляет в народ, братья в братьев, устраивая зверства, каких не знали при Гитлере... Основной мотив выступающих участников: «Мы выполняли решение ЦК и все делали в соответствии с указаниями Генерального секретаря партии. Нас убеждали действовать напористо и решительно, говорили: «Не бойтесь перегнуть палку, мы вас прикроем», а теперь нас сделали козлами отпущения». И коммунисты были правы. Возмущение среди руководящих сельских партийцев было всеобщим. Что же касается товарища Сталина, то это был его коронный прием: отступить при неудаче, свалив собственные просчеты на «козлов», а потом снова идти в атаку, «закручивая гайки» до предела... За это в Зауралье и приговорили вождя к расстрелу...» И приговор такой был более чем справедлив. Поколение дедушек наших не даст усомниться в этом. Николай Михайлович Любимов (1912—1992), в частности – создатель классических русских переводов Рабле, Сервантеса, Боккаччо, Пруста, Мольера и Шиллера. Испил он чашу полную, когда «темный туман окутал умы» в стране Советов: к 30 годам он уже знал тюрьму, ссылку, бесприютность, скитальчество, постоянное опасение снова привлечь внимание НКВД... Так вот*

Вспоминал Николай Михайлович, как в Великую субботу 1930 года задал себе вопрос: «Могу ли я простить Сталину человеческие страдания, которые я видел воочию? Могу ли я простить то, что он сделал с землевладельцами, с духовенством, с мастеровыми?» И уже тогда ответил на него: «Да, могу, но только ради „торжества из торжеств“. Всепрощающее величие истинно христианского духа мне недоступно. Пройдет праздничный подъем – и у меня уже не хватит сил перебарывать ненависть» (Т. 1, с. 223 воспоминаний Любимова «Неувядаемый цвет»). И эта ненависть время от времени прорывается: «Почему у большевистских главарей, за малым исключением, такой жуткий и такой богомерзкий внешний облик, в котором

не чувствуется души (какая там душа!), в котором мелькает ум низменный, практический, циничный, и то не всегда, с каждой сменой кабинета все реже и реже, в котором нет ума светлого и высокого?» (Т. 2, с. 204—205). Думал Любимов и о неотвратимости возмездия – на том, да и на этом свете: «Ох и отлилась же кровь царевен, и далеко не только царевен, целым легионам большевистских бесов – отлилась каждому в свой срок, отлилась с избытком. И ждать им этого срока пришлось совсем даже недолго – не более двадцати лет! <...> Мне приходилось слышать такие речи: почему многое множество цекистов и чекистов было запытанно и перестреляно, а Сталин отделался легкой смертью? (Своей или насильственной – судить не берусь.) Я на этот вопрос отвечал словами мамки Онуфревной из „Князя Серебряного“, говорившего о Малюте Скуратове: – ...этот не примет мзды своей: по его делам нет и муки на земле, его мука на дне адовом» (Т. 2, с. 188, 501). Думаю сейчас о раскулачивании, что постигло и мой род крестьян, стольпинских переселенцев на амурскую землю, о безвинно расстрелянном отце. Думаю и об иконно почитаемом мною Михал Михальче Пришивине. Отчего о, глубоко страдая, ушел в природу, в леса, к ароматным лугам, усеянным цветками? От «отвращения к Октябрю». Путь, долг свой видел этот кудесник словесной живописи в том, чтобы своими книгами украсить путь **несчастных**, чтобы они забыли тяжесть своего креста. Так именно воспринимает Пришивина игуменья Феофила (Лепешинская). Процувствованно пишет она в своей книге «Рифмуется с радостью» (размышления о старости): «Можно только догадываться, насколько иньими и одинокими ощущали себя люди, рожденные в XIX веке, среди людей новых поколений, воспитанных в профанированной образовательной системе большевизма». И одна колхозная активистка, член комитета по раскулачке, не выдержала такого изгальства, подхватила, как кутят, трех самых меньших ребятенков, ангелочков безвинных под мышки и домой побежала. Утром приходят к ней: а-ааа, мол, кулацких детей приютила, стерва. Она как закричит на эту комиссию, с ухватом на нее бросилась: «Ах, вы шкуры, кровососы, разве такими советские люди должны быть. Эти ж дети пойдут советскую власть защищать, а вы о каких-то законах мявкаете!». Какой тут закон, господи боже мой, если самый главный революционер страны дал отмашку на разбой в деревне: «Повесить, непременно повесить, дабы народ видел, не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать имена. Отнять у них весь хлеб. Сделать так, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц-кулаков. Телеграфируйте исполнение. Ленин». И неслось по стране эхо. Раскулачить!.. Сослать!.. За пропаганду контр-революционную... И сколько за этим драм – неисчислимо. И на Воронежской земле, и на Псковской, и на Сибирской. Товарищ мой детский поэт Саша Шестаков недавно поведал землякам в прессе, как погибла в результате этой встряски на колхозном скотном дворе его мама при каких-то туманно-загадочных обстоятельствах. Хранит память седого уже дедули вид притихшей печальной горницы и далее: «На нашей широкой софе стоял еще не занятый мамин гроб. Я, глупыш, не понимающий горя-беды, вскарабкался на него и принялся играть кудряшками свежее-пахнущих стружек. А взрослые, видя все это, рыдали...» Написал об этом и невольно подумал о буревестнике революции, который сам стал жертвой ее, в конце концов. Но в разжигании социального пожарчика тоже сыграл свою не последнюю роль. «Наши лозунги просты, – писал он, – долой частную собственность, все средства производства – народу, вся власть – народу, труд – обязателен для всех». Ну да, кто хочет жить, тот должен работать. Кто не хочет работать, может сразу ложиться и протягивать ноги. Даром кормятся лишь виш. Учтите, человеческие единицы. Но что это, горьковское? Можно по косточкам разобрать. Грабь награбленное, во-первых. Как разумел Алексей Максимович народное владение средствами производства? Что мы имели в этом плане при социализме, а тем более, когда получили в Перестройку ваучеры? Кто кого ограбил? И в мысли о труде звучит нечто казарменное вплоть до казарменной любви, конвейерных экстазов армейщины и том даже пленительном будущем, когда скорость извержения спермы сравнивается со ско-

ростью мысли. Во торсион, р-раз, и до окраин браны Хокинга. В фантазериях типа Троицкой-Купера можно прочесть об НЛО, являющем собой «материнский корабль». Это не то транспортное средство, на какое мастерили колеса Нехаевы. Они делали их для телег. А НЛО из космофантазмов похож на гигантский летающий город и может вмещать в себя сотни и даже тысячи более мелких, размером с бальный зал, летающих объектов. Освещенный на полную мощность материнский корабль сияет ярче, чем 10 тысяч солнц. Эти летающие объекты имеют громадные размеры. Существа с материнских кораблей больше похожи на нас, чем другие инопланетные существа, и ведут они войны с землянами. Во время разрушений существа, находящиеся на материнском корабле, «высвечивают» людей с высоким уровнем сознания, захватывают их лучом света и переносят на материнский корабль. И то и другое как раз и происходит мгновенно, со скоростью мысли... Прямое созвучие с вышесказанным открылось мне в интервью кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета родного мне МГУ им. М. В. Ломоносова Станислава Дробышевского:

– **Можно ли предположить, каков будет интеллект у человека будущего?**

– Недавно я посмотрел фильм «Идиократия» – всем советую его посмотреть! Он достаточно дебилный, но отражает то, что действительно может случиться. То есть сейчас человеческая цивилизация создает возможности выживания людей с не очень высоким интеллектом.

За счет того, что сильно интеллектуальные ребята создают кучу всяких благ (айфоны, теплые помещения, транспорт и прочие ништяки), оставшиеся 99% населения могут этим пользоваться и не думать вообще.

А мозги нам для того и нужны, чтобы решать сложные и неожиданные задачи. Когда у нас все по стандарту, все известно, то они теряют смысл. И отбор будет идти на истребление мозгов. Хошь не хошь, а вспомнишь в такую пору Уэллсовское в «Истории цивилизации» о том, что в древнейшие времена стариков обоего пола, как хранителей коллективной памяти, почитали и побаивались, отождествляя, как утверждал Автор, с богами и богинями и добиваясь их покровительства. Когда старик умирал, члены рода торжественно, с ужасом и благоговением одновременно съедали его мозг, демонстрируя единство и преемственность поколений... Если выживают люди с пониженным интеллектом – то средний уровень интеллекта популяции будет понижаться.

Все путешественники давно отметили, что в одной и той же местности охотники-собиратели всегда гораздо интеллектуальнее, чем земледельцы. Потому что у земледельцев все по одному и тому же кругу вертится – посадил-окучил-полил-вспахал. А у охотников-собирателей все не так: звери могут убежать, звери могут не прийти, звери – сами умные. Да и ягоды тоже не всегда достанешь.

Конечно, все готовы прикалываться: какие дикие папуасы, буимены и пигмеи примитивные. Но те, кто с ними общался, говорят, что это самые сообразительные люди из всех. А сейчас большая часть населения планеты живет в городах. Мозг напрягать не надо. Так что перспективы печальные.

Растет разброс: умные тоже есть, и отбор на них тоже работает. Другое дело, что мы не ведем целенаправленный отбор на умных. Селекции и евгеники ведь нет! (И очень хорошо, на самом деле.)

Гены постоянно перетекают туда-сюда, а испортить, как известно, всегда легче, чем улучшить.

Но, с другой стороны, если люди в среднем станут сильно тупее, то они не смогут поддерживать уровень существования общества, и им придется поумнеть. Либо они вымрут (но это вряд ли), либо пойдет естественный отбор в обратную сторону. И пойдет такой волнообразный процесс с амплитудой в 20 тыс. лет: поумнели – потупели, поумнели – потупели.

– Что мешает другим животным стать такими же умными, как люди?

– Еще 50 тыс. лет назад было четыре вида – сапиенсы, неандертальцы, денисовцы и хоббиты. Потом сапиенсы всех вытеснили и заняли всю интеллектуальную нишу. И никому больше поумнеть не разрешают!

Как, например, могут поумнеть шимпанзе в Африке, если они сидят в лесу и за ними постоянно бегают браконьеры?

А вообще, интеллект – не то, к чему стремятся живые существа. Стать разумным – это не цель биологии. Дельфины, например, спокойно живут в воде и питаются рыбой – и умнеть им необязательно. А вообще, у каждого живого существа своя специализация. У тушканчиков специализация – длинные ноги, у слона – хобот, у китов – эхолокация, у человека – интеллект. И с какой стати у муравья или трубочкуба должна быть такая же специализация, как у сапиенса? Вызвали женщину, заступницу детишек, на заседание ячейки и обсуждать стали. Молчит народ, сопение лишь в избе-читальне слышно. Руководитель тогда кричит толпе: «Что ж вы молчите, корова вам языки изжевала? Она ж нарушила Указ правительства». Калинин только и чекисты поставили их на место.

Никиту холодок до спины пробрал, когда он подумал, что, может, и попали Нехаевы с остальными детьми в Сибирь, на Обь, и завезли их баржой смерти на страшный тот остров, о каком рассказал ему один геофизик. И могли б захлебнуться эти малявы там в ледяной воде. Жутко-то как! Это судьбы воронежских бедолаг. А пожар такой раскулачки пылал и на Севере, и на Юге, на Западе и на Востоке, вся Россия взбулгачена была, как скотобаза, какую охватило пожаром. На семинаре прозы начинающих тюменских писателей обсуждали мы недавно в числе других книгу Ирины Андреевой «Деревенское солнце». Два слова о новом авторе. Это имя пока неизвестно в отечественной литературе, тираж ее нескольких книг, выпущенных за свой счет – от 50 до 200 экземпляров. Как говорит сама Ирина, любимое место в ее детстве – лежанка на русской печи, где много дум передумала девочка. Закончила она потом строительное училище и машиностроительный техникум, работала на стройке. Она согласилась с мной, что роддом ее литературы – русская печь. Самородок-писатель Ирина Андреева. «Деревенское солнце» предварила «Моей родословной». Это была история, записанная «со слов папы» и означенная – «Цена хлебу». Некоторые извлечения из нее о событиях, реминисцентных с теми, о каких повествовал Саваоф:

«Во время коллективизации дед Иван как подавляющее большинство крестьян сдал в колхоз свою скотину: две лошади и две коровы. Голодный скот кричал по ночам, надрывая душу, и бабушка забрала его обратно, полагая, что кузнечное ремесло мужа прокормит их семью при любой власти.

Но обособленно жить стало невыносимо. С продрозверсткой сгребли последний хлеб, а в ноябре 1935 г. и вовсе пришли раскулачивать. Первым пострадал старик-сосед Ощепков Петр Ильич. Дед Иван видел через забор, как безжалостно сбили старика с ног, стянули с него овчинный полушубок и валенки-самокатки (больше экспроприировать было нечего) и напрямик направились во двор к деду. Дед не рассуждал – перегибы ли это на местах (как потом определяют идеологи), сопротивления властям не чинил. С его двора снова увели скотину и забрали куриц. Осиротили, можно сказать, многодетную (7 ртов детей) семью. Папа и его брат Саша тихо отсиживались на полатях и лишь когда понесли куриц, заплакали и закричали: «Это наши курочки!» 19-летний Федор почернел с лица, когда уводили его любимого коня Мухортика...»

А потом на обезмужиченные хозяйства навалилась Великая Отечественная война, вновь холода и голода, как говорится. Сполошное ж это время, колокольное. Свидетельство той уже поры из «Моей родословной» Ирины Андреевой:

«Весной ребяташки разоряли гнезда сорок, ворон и диких уток, варили и ели их жесткие как резина яйца. А еще тайком шли в поле – собирать оставшиеся колоски. Прятали их по хол-

щовым сумкам. Налетал объездчик верхом на лошади, нещадно сек детей кнутом, отбирал добытое, наверное, сам жрал, супостат! Кому война, а кому мать родна, и такое бывало...

А осенью те же дети раскапывали в поле хомячьи норы, забирали у зверушек зимние запасы (тоже шла своя невольная раскулачка тут, другой конец палки бил уже по этим «лягухам», цепная реакция, кого ж, однако, хомяки раскулачивать будут... – А. М.) – горох, бобы, хлебные злаки.

На время осиротела земля русская. Ведь главный сеятель ушел на войну, оставив немощных стариков, женщин и детей. Мучили скот – пахали на быках и коровах, возили сено и дрова. Но плохо возделанная нива не давала доброго урожая, и животные голодали так же, как человек, до изнеможения. Зимой, чтоб коровы не падали от бескормицы, их привязывали к балкам фермы возжсами. Стоило непредусмотрительно оставить на ночь метлу, к утру от нее оставалась лишь скрепляющая проволока. Особенно страшно кричал скот в морозные ночи...

Наравне с местными жителями разделили свою тяжелую участь и эвакуированные... Мама вспоминает, как бегали с девчонками-подружками подсмотреть, как стирали свои выбеленные и вышитые холщовые рушники украинские женщины и девушки. Сначала они стирали и полоскали рушники с мостика, потом отжимали и раскладывали на просушку на покатых травянистых берегах. Словно белые лебеди опускались тогда на луг...» Но это уже поэзия...

Саваоф же продолжал:

– Много было, Сеня, головокружений от успехов, когда головы активистов со своей власти и дури, как от вертячки, вскружались. Не видел, как бесятся от вертячки, болезни такой, коровы? А-аа! Много же, Сеня, природных крестьян, хлебосеев в ямы бедствий загнали.

Где революция, одним словом, там и брожение, где шквал, там и пена. Не так буквально подумал Сеня, но корень мысли его был таким, и он утверждающе-твердо спросил:

– Но светлые времена, ради которых разворочали все в деревне, пришли ж, дед?

– Оно, конечно, изменилось все, – начал было дед, но молодой сосед прервал его:

– Ну, а ты как масленицу отпраздновал?

– Раскулачили, загремел под фанфары я, но хрен кому покорился. Я ж закаленный сражениями. В мировую войну первый енерал второго ранга был. *Солдат: на театре военных действий (А. П. Чехов. Записная книжка)*.

И плутоватый высверк осветил щелки глаз старика. Заметь это Сеня, понял бы, возможно, что дурачится старик иногда, потешаясь про себя над таловскими бабами, расписывая, как генералил. Так оно на самом деле и было, для забавы сбивал Саваоф с панталыку баб деревенских, основных его слушательниц, надев на себя шапку шута. Русскому пошутить, что сигарочку откурить.

Сеня сплюнул и шаркнул ногой в песке.

– Треплом ты был, и зря тебя не убили тогда.

– Хочешь, кресты Георгиевские выну из ящика?

Голос Саваофа дрогнул, накупать стали слезы в его глазах, он оперся сухими трясущимися руками о лавочку. Вновь одиноким, как перст, стал старик в мире вселенной у своей лавочки.

– Да не кипятись ты, дед, я твоего не отнимаю, – осадил его Сеня.

Саваоф обиженно отвернулся в сторону и поджал губы.

– А что тебе к Дню Победы было? – не удержался Сеня еще от одного каверзного вопроса.

– А ничего мне не надо, – вспльчиво ответил ему Саваоф, – все у меня есть.

– Значит, тебя и сейчас раскулачивать надо.

В словах Сени не было зла теперь, скорее, он переводил на шутку все, стараясь сгладить остроту разговора.

В уголках губ старика, который тонко чувствовал вышколенным жизнью чутьем настрое- ние человека, вспыхнула искра слабой улыбки. Он с таким фендибобером закатил глаза к небу, как это может сделать комедийный артист. *В Государственной Думе такие и еще хлеще лицедеи есть, речей пикантных мастаки.*

– Суд бо-жий при две-еря-ях!

– Ну, ладно, ладно, у меня душа тоже райская, – раздраженно заявил Сеня.

Взъерепенился с чего-то старик:

– Меня Москва знает, слухай и не сопротивляйся моему слову. Знаешь, что Кремь на Красной площади, меня там знают. *Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, про- ходил по Москве с севера на юг, с запада на восток из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видел Кремля (Венедикт Ерофеев. Москва – Петушки).*

– Я тебя не слушаю, – заткнул уши Сеня.

– Я прощаю тебя за твои беззакония, – великодушно объявил Саваоф. – Убойся бога, воздай ему славу.

– Ага, всем богам по сапогам выдам сейчас, – осклабился Сеня. – Моя душа не каптерка. Хрен на палочке твоему богу.

– Не сопротивляйся, – воинственно загудел пьяненький уже дед. – В рай, может, попа- дешь.

– Подохнем, как все люди дохнут.

Вера трезвила старика, придавая ему энергии и страсти.

– Чем вы дышите?

– Легкими.

– Откуда пришли?

– Мать родила.

– Кто первым человеком был, как не Адам?

– Трепись, трепись.

– Как бычок ты, Сеня, ничего не видишь на земном шаре.

– Баран бараном ты, дед, – обменялся ответной любезностью разозленный Сеня, и тут уже Саваоф стал утишать его.

– Пойдем, Сеня, пойдем, милок, в хату.

И две святых души на костылях, как можно бы их означить, исчезли во чреве избы, в запа- хах кислой капусты и ладана, крепкого, как первач-самогон, настоя дурманящего одиночества деда. Через некоторое время оба они вновь выползли на свет божий. Саваоф долго качался в дверях, держась за косяк, потом, засеменя спасительными шажками, близясь к лавочке, и с отрадою плюхнулся на нее. Сеня же шел к ней по земле, как и полагалось ему по былой морской службе, – будто под ногами его была палуба. Он широко расставлял их и, покачива- ясь, преодолел стратегическое расстояние от дверей избыных до лавочки.

Никита поглядывал на двух земляков-таловцев, старого и молодого, и почувствовал в какой-то момент, что за час лишь общения в деревне родными стали они ему как самые близкие люди. И действительно, прозрачные люди тут, яснее, вот и сейчас Сеня и Саваоф, как пасхальные яички на блюдечке, никакой кривизны в их душах (Пушкин ценил таких), до донца видны. Да, все верно, и ясно это и мне как Автору. И не только мне, и не только в веке нынеш- нем, но и во временах минувших. У Пушкина в «Барышне-крестьянке» об этом же. Что сто- лица? Образованней там публика? Так, наверное, если насыщенностью на один квадратный метр оценивать знание там. Но навык света сглаживает характер и делает души людей однооб- разными, как головные приборы. Этак можно и кастрюлями всех оголовить. *Но не теми, кото- рые взрываются у террористов, начиненные гвоздями и подшипниковыми шариками, не щадя ни старых, ни малых, младенчиков, едва свет увидевших. И – попавших под «фашистские инве-*

стиции». У страха глаза велики, однако, да в преломлении нашей бюрократии – это тоже бывает просто ужасно. На вахте здания областной Думы лоб в лоб столкнулся с ее проявлением. Тут ныне ввиду мер, предпринятым Эрдоганом, гибели наших людей ответно предприняты драконовские меры борьбы с терроризмом. В момент же подмяли Закон о СМИ, обезценив право журналиста входить в здание Думы по членскому удостоверению. Меня выводили «под ручки», когда я направлялся без «сопровождающего лица» в туалет... И еще демонстрировали щегольски. КАК РЕГУЛИРОВЩИКИ В БЕРЛИНЕ ПОСЛЕ НАШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОБЕДЫ – КУДА ИДТИ. Тако вот с облаченными в тогу «секьюритинов» жандармами нашей бюрократии. Как говорил сын мой Сережа – ДУРОКРАТИИ... Не даст мне память не сказать о моем друге-сокровеннике Игоре Созинове, что был биологическим экспертом всех моих книг, являл, по сути, МОЙ УЧЕБНИК. Сын фронтовика, который в войну представлен был к званию Героя Советского Союза, но военная круговерть жизни помешала Золотой звезде украсить его грудь. Игорь не только о биологии, но и о войне судил глубоко. «Суть любой диктатуры в чем? – задавался мой друг вопросом. – В построении иллюзорного мира, удаления от реальности. И все выстраивается в одну линию. Нищие мы от вождизма именно. Армия, конечно сильна была, но диктатура крепче бетонного надолба. Одно порождает другое в вертикализме культа личности. Бюрократия бережет диктатуру. Сталин допустил Гитлера до Москвы. Мощь у нас появилась, когда страну в войну за горло взяли... Шараханье от реальности к иллюзии и искры... У Брежнева была иллюзия благополучия, и ударились мы лбом в реальность. Реальный мир не выгоден, Саня. Надо же действовать в реальном мире, работать, вкалывать. А тут – с налету. Шапки под высь!..» Такой вот «философский камень» был у Игоря Созинова...

Но о дурократии. Это – годится лишь в «кунсткамеру идиотизма». Другиня моя в «Моем мире», зна ёмая мной с молодости писательница и журналистка Тамара Пригорницкая поместила текст объявления в одной из поликлиник Тюмени: «В связи с угрозой террористического акта кал на анализ принимается только в прозрачной посуде». И такого уймищу встретишь. Наподобие того, что можно представить себе по выдержке из одного школьного сочинения: «Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу, и каждый день туда подкладывал»...

Говорили двое напротив Никиты не так связно теперь, но теплоты в их отношениях прибавилось. Саваоф любяще глядел на Сеню и говорил ему заплетающимся языком:

– Почему мы не пьянем, Сенюшка, хоть я и одиннадцать раз выпил сегодня? По наперстку. И как тут не вспомнишь Гнедича:

Ну и рюмка – с кукиши вся,

Наливать соскучишься!

Потому что о слове божьем разговариваем, а то давеча воткнули б носы в землю.

Где слово божье, там и песня рядом, конечно же, и зазвучала она вскоре. Саваоф с Сеней начали выводить тихо и трогательно:

Кали-и-на – мали-на-а, что не цвела?

Были сне-е-еги – моро-зы – приморо-о-зи-лась.

Потом дед облапил Сеню.

– Сенютка, люблю я тебя, бой-парень ты.

Часть вторая

Утром у Сени дико трещала голова с похмелья, и ему казалось, что Саваоф его одурачил. А над степью, над горячими сухими полями, которые только паленым не пахли, переливались волны жгучего зноя. Сдавалось, будто всевышний задумал превратить землю в камень и испепелить все живое, решив разобраться в чем-то, как делает это интеллект человеческий, способный понимать все органическое не в живом виде, в родной его среде, а лишь превратив

его в мертвое, рассекши его с решительностью тургеневского Базарова, как приуготовленную к препарированию лягушку (так только, а не иначе).

Сеня облокотился на заборчик у дома и раздумался, когда ж ему ехать в Варваровку, чтобы в лесу у дороги с вековыми дубами, аллею которых высадили по приказу какой-то высококородной петербургской дамы еще, накосить сена козам. Их баба Поля его, как и все в Таловке, держала исключительно для пуха и шлейфоносного действия далее – вязания знаменитых хоперских платков.

Солнце и небогатое полевое разнотравье здешней лесостепи были исключительно благодатными для козьих стад, от них получали настоящее «золотое руно. Если говорить о секретах его, как о секретах дамасской стали, то один я выдам читателю. Если вязали их маленькие девчушки, проходила их нить через нежные, потные их пальчики, и пряжа пушилась в такие кольца, что дымчатые платки были мягче лебяжьего пуха и, конечно же, теплее. Берите на ум это, покупатели: ежели платок продает родительница из многодетной семьи, где девченок гурьба тем более и дети помогают маме, больше шансов приобрести эксклюзив из действительно золотого руна.

Два дня назад Сеня с матерью с матерью чесали козу. Сын связывал ее, держал, прижав к полу, а баба Поля вычесывала пух гребнем и ласково говорила с козой:

– Золотинка ты моя.

Взглядывая на заросшее грязно-пегой щетиной лицо сына, она покачивала головой, и столько тоски и сиротства было в ее глазах, что потрепанные нервы Сени не выдерживали, он отводил свои глаза в сторону. Глаза ж мамы оплывали слезами, которые скатывались по морщинкам щек. Истинно, молода жена плачет до росы до утренней, сестрица до золота кольца, а мать до веку. На ту же войну, провожая сына, себя посылает прежде на это стрельбище мать. Сонмы матерей, переживших Отечественную, знают это. В семьях других детей царило благополучие, баба Поля, больше страдала за Сеню, что совершенно естественно, жальчей всех было ей эту свою кровиночку. Так горе его ушибло, этого лопоушка с носом-крючком. Ну, вылитый дед Демьян. Полтавское от него передалось Сене. Не зря ж Наталкой-полтавкой жену звал. Баба Поля взглядывала на сына-горемыку и слизывала слезы языком с губ. Комкая слова в горле, с прерывистостью говорила больше как бы сама себе:

– Сколько я пережила, голодовки, война, лихо за лихом, таких орлов на ноги поставила с Ильей-покойничком, один ты без пути, сынок. А каким же трактористом ты был золотым! С каким почетом провожал тебя совхоз в армию! Жить бы только да жить тебе, мне б по гостям ездить да унучков нянчить, а я слезы лью здесь.

Как ножом резали сердце Сени эти слова.

У бабы Поля же плетями опустились руки, седая голова пала на грудь, как у обреченной на гибель.

– Оо-ох! – вырвалось у нее. – Хоть бы ты помер, раз бы поплакала, но знала б, что определен уж, не мыкаешься.

Судьба вертка, однако, и своенравна, как угорь, не укажешь ей путь, и долго будет Сеня мыкаться и страдать, а когда определен будет, то знает всевышний.

Страшно быть манкуртом, человеком без памяти о прошлом, еще страшней, когда нет у него будущего, проекта его хотя бы, и в этом отношении Сеня гол был сейчас как сокол.

Жизнь можно представить себе вечным нескончаемым полотном из мозаики цветных стеклышек, через которые пробивается утверждаемый чередой смертей белый свет вечного ее единства. Врагу б не пожелал Сеня того, что ждало его самого в брезжащих далях будущего. С женой у него понемногу наладится, но ослепительно-белой увидит он жизнь в тот момент, когда узнает о смерти ее, когда будто жгучим свинцом ошпарит сердечную кору его. Умрет Наталка при родах четвертого их ребенка Максимки, и останется Сеня «кормящим папашей» с грудничком на руках в окружении двух малышей садиковского возраста и дочери-школьницы.

Первенькая, Лариса уехала ранее к родне в Самару зацепилась там. Поступила в техникум легкой промышленности, вышла замуж потом за молоденького офицера, поэзия даже в душе пробудилась, начав выплескиваться с незатейливого такого стишка:

Мне нравятся люди в погонах,
Не знаю сама почему...

Сожмет волю свою в стальную пружину Сеня, и дорастет его младшенький сын Максимка до того дня, когда сделает первый шагок. И отца, заменившего мать детишкам, которые будут ходить за ним хвостиком, как журавлятки, сорвет с резьбы радостью и прострельной болью о покойной Наталке: ей-то никогда уже не порадоваться за сыночка, не выбраться из-под земли на вольный воздух. В могиле ж дышать нечем. За этим последовал долгий запой Сени. И так и будет хромать жизнь у него, пока не попадет он в ЛТП, лечебно-грудовой профилакторий (расшифровываю для современного читателя). Но это впереди еще, хотя Сеня нес в себе уже такое будущее, да что уж там таиться: и финал прозревался. Когда случилось Таловке провожать в последний путь Сеню, которого здесь любили и жалели все от мала до велика. Несколько дней лежал он в своем обиталище после очередного запоя: остановилось у него сердце, рванулся он к двери, да так и упал у стола замертво, и тело его стало иссиня-черным, как у абиссинского негра.

Два километра двигалась машина по глубокому песку главной улицы Таловки к кладбищу. Много людей тянулись траурной лентой за гробом, другие стояли у ворот своих подвожий. Стихла вся живность на базках. Никто не хрюкал, не мекал, не мукал, не издавал куричьих ко-ко-ко или еще чего прочего. Гроб с угольно-черным ликом Сени на открытой машине словно бы плыл по Таловке, и замерло все в природе. Редчайший это, может быть, и мистичный случай, но мне как автору романа и этого сюжета о Саваофе в Тексте ясно одно. Имеет все сущее в природе волновую связь, и сердце у нее одно. В общем, кончина Сени не осталась безвестной, как я теперь, сварив «квантовый суп», понимаю, и для всего Мироздания. Похоронили Сеню рядом с Наталкой. Навечно они вместе теперь. На обе могилки носят на родительский день их дети цветы. И было, вероятно, за что страдать природе о Сене, хоть корни причинности этого неординарного явления мне неизвестны. Как бы то ни было, нам с читателями предстоит проживать тот отрезок Сениной жизни, который и представлен на страницах повествования

Позволил Сеня силам зла, ржавью подъедающим его душу, начать подъедать ту критическую массу добра, НЗ, неприкосновенный его запас, без которого теряет человек цельность, способность так напрячь свою волю, чтобы одолеть любое, встающее перед ним жизненное испытание.

Уперся подбородком в забор Сеня, глядит горестно вдаль и видит ослепше лишь белесый туман. Вновь подумалось о Саваофе ему. Плохо ли, хорошо ли жил старик, но он жил, верил во что-то. И что судить его строго за веру в бога: вдалбливали ее в душу народа веками и наивно думать, что сразу можно очиститься от скверны ее, махом снять действие дурманящего огня богомольства. Так примерно или близко к этому, но попроще размышлял Сеня. «Как я живу? – лилась его мысль, – Существую, вред обществу приносить стал, детей осиротил. Саваоф в бога хоть верит, а я во что? В рюмку с закусью? Что дальше ждет меня на пьяной кривой дорожке? Страх, что схватят менты за кирпич, вылез вперед, и все доброе глушит. Засуха взяла всех за грудки в районе. Понимать стали в верхах там, отчего же выявилось столько теперь, как овсюга в поле, прорех. Не одно солнце было виновно, что шелестели в полях пустые колосья, поднимались в ветреный день пыльные облака. Известно стало в Таловке в этот день, что райком партии выгнал из КПСС вон и с работы за пьянку бездельника-агронома. Сеня узнал вечером об этом в клубе. А шел там давнишний фильм «Богатая невеста», который взволновал его, прочистил какие-то поры в душе отставного сельского механизатора, когда звучала в кадре

музыка жатвы, вел тракторист музейную по нынешним временам машину, и падали подкошенные жнейкой колосья, а следом весело и сноровисто вязали их в снопы женщины. Вспомнились Сене все дорогое и трогательное из детства, и он будто вернулся на родину. Комок слез шибанул к горлу его.

И вот Сеня уже дома после кино. Устроился спать во дворе под навесом, который специально соорудил для летнего времени. Через щели навеса между горбылинами мерцали дальние звезды. С одной стороны его лежки небо было открыто полностью, и Сеня угадывал и крест Петров, и трхсветильник, ковшик божий. Он чувствовал, что ему хочется вновь беседовать со стариком-соседом о земле и боге, только без рюмки, с ясной, как стеклышко, особой полировки, головой. «Поставить бы раз и навсегда точку в споре о боге с дедом, – думал Сеня, – расспросить в подробностях, как занимался он хлебосянием».

С лежака Сене хорошо видно беленую стену избы Саваофа. Сумеречно светится в ночи небеленая печная труба, из которой струйкой уходит в небо дым. «Дряхлый дедок стал, – подумал Сеня, – спину, наверное, греет. Проживи-ка лет девяносто, тоже затопишь печку в жару».

Глядит вверх на блески звезд в небе Сеня и не знает, что завершил уже многотрудный путь свой на земле Саваоф, остеклели глаза его и не ослепит второй раз жестокий жар веры душу этого человека и не повторится пустыня его одиночества. *А что есть барханы ее, песок? Пересыпающееся время, которое таит в себе оазис, подобный тому, что звучит в стихе А. К. Толстого:*

*Сюда когда-то, в жгучий зной
Под темнолиственные лавры,
Бежали львы на водопой
И буро-пегие кентавры.*

Весь день с утра со стариком происходило что-то неладное: давом давило сердце в грудь изнутри, как казалось ему, словно бы пыталось оно вырваться из душевной темницы. Жгло в груди, будто головня там вместо сердца была. По телу Саваофа попеременно перекачивались лихорадочные волны зноя и холода. Его подташнивало. Приходили к старику мысли о смерти. С сумерками, сиренево засветившими в окна, он растопил печь, чтобы погреть старые кости. «Ну, печной комендант, залезай на полати свои», – скомандовал он себе с горестной шуткой. Ухватился, было, за выступ, силясь подтянуть тело, и вдруг порвалось внутри что-то от напряжения, и колющая боль игольно пронзила старика – будто пику в шею воткнули ему. Он разжал пальцы и стал оседать.

– Караул, господи! – закричал Саваоф, но голос его был тоньше комариного писка. В переднем углу горницы тускло теплилась лампадка. Старик всем телом дернулся к ней, впираясь ногтями в щели пола, издирая в кровь пальцы. Из горла его вырвался клокочущий хрип, изо рта, клубясь, пошла соленая пена. И тут в какое-то мгновение вспышка первородного, не отягченного удушьем слепой веры, сознания пронизала Саваофа.

– Господи, господи!!! – вскричал последний раз в агонии он. – Я ж верил в тебя, а ты – бесчувственная колода.

И молниевая эта вспышка пронизала все в мыслях его и в подсознании, и предстала душа Саваофа пред вечностью младенчески чистой и непорочной. Так меняет атмосферу озон после грозового разряда, и обретает она высшие животворные свойства. Перед угасающим внутренним взором Саваофа предстало видение сферичного, выпуклого горизонта пахнущей чабрецом и полынью родной хоперской степи. Над нею вырастал во влажной синеве неба темный, как икона с богородицею в горнице у Саваофа, крест. Высушенное дерево его стало покрываться морщинами мелких трещинок, из которых засочилась кровь. Насачиваемые капли распускались в пурпурно-алые лепестки тюльпанов, и их становилось так много, что они заполнили

степь и небо. Жизнь сердца Саваофа начала замирать, и глаза его вскоре остекленели, навсегда унося с собой блеск мишуры на иконе и дрожащий, как марево, язычок лампадного пламени, эти последние мерцания в его сознании жалких символов веры, искалечившей крестьянскую жизнь Саваофа.

На следующий день Сеня рано вернулся с работы. Он заглушил мотоцикл и томился на солнце, ожидая, когда выберется на лавочку Саваоф. Его возбужденно обхватил со спины расхлюстанный жердеобразный мужик, известный таловский забулдыга, карманы которого топырились «Агдамом».

– Угощаю, Сеня, – затараторил тот, – схалтурил сегодня.

Сеня сглотнул слюну, чувствуя сухость в горле. Дернулся острый его кадык.

– Завязал, – недружелюбно отшил он доброхота.

– Завязал? Ха-ха-ха, – раздался в ответ подловатый смешок.

Сеня схватил за грудки забулдыгу и с силой бросил его в забор.

– Ты что, ты что, ошалел, сатанут-твою мать? – закричал тот и, егозя, испуганно попятился к калитке. А Сеня, так и не дождавшись старика, перед заходом солнца уже, когда окрасило багрецой пыльный воздух, сам отворил дверь в его дом и увидел безжизненное тело Саваофа на щелястом полу, окровавленные пальцы. Страшная догадка обожгла Сеню: ясно ему становилось, что скребся, пытался ползти он к иконе. У покойника были выкаченные глаза. Тело его было уже холодным. Он смотрел в сторону богородицы, в лампадный угол горницы.

Родственников у Саваофа не было, и его обрядили в последний путь набожные таловские старухи.

Сеню ошеломила смерть деда, с которым они неожиданно сошлись сердце к сердцу, хотя и встречу друг дружке были в вопросах веры, и Саваоф разбередил душу соломенного вдовца, вывел его из мертвого какого-то застоя, качнул, дал движение свету.

Главную улицу Таловки размололи машины, и Сеня тяжело, убрдно шагал за гробом по вязкому сухому песку. Солнце пекло еще жарче, чем в предыдущие дни, казалось, что вот-вот пыхнет и займутся огнем земля и атмосферы, как могло это случиться где-нибудь на полигоне, на той же Новой земле, если бы там произошла катастрофа с испытаниями термоядерной бомбы. *Кем надо быть, чтобы разрабатывать ядерную бомбу, если у тебя жена – детский врач? И что это за врач, что это за женищина, которая не разведется с мужем, у которого настолько поехала крыша? «Дорогой, сегодня на работе было что-нибудь интересное?» «Да, моя бомба отлично работает. А как поживает тот мальчик, который подхватил ветрянку?» (Курт Воннегут. Времятрясение).* Жутко было бы представить себе, как объяло бы такое бесовское пламя дома и деревья, истомленных жарой таловцев и всех хоперцев, живущих на берегах своей тихомолчной, сонно текущей на плесах реки. Лишь Саваоф не страдал бы от этого, не знакомого людьми пожара и умиротворенно глядел бы желтым лицом в небо. Он уже не казался Сене и всем таловцам тем человеком, который мог сказать в этот июльский зной: «Я ж говорил, что кара вам будет за грехи, за то, что не почитаете отца небесного, все сгорит, и души ваши грешные огнем займутся». Пишу, а в сознании моем артикулируется «отец небесный» как «вселенские законы природы». А их три: «Все во всем», «Все в себе» и «Все из себя». *Растет сущее все из себя, больше расти не из чего (в большом своем романе я докапываюсь до протонно-электронных глубин этого вопроса). У меня дерево будто проросло в мозгу, как помыслил бы Деррида. И у каждого человека так. И педагогика, корень ее в том, чтобы способствовать росту личности из себя, «поливать» лаской, добротой, вниманием... Так свобода каждого из нас вырастает из самого же человека, когда он наращивает ее. Способствовать этому – миссия истинного педагога, который должен бы неукоснительно следовать «закону нового», закону наращивания его, как мыслил его Николай Гартман. Ясно ведь и просто это у немецкого философа. По-человечески промыслено. Когда же авторитарно ломают личность – мало в этом толка, говоря мягко. Новое из себя и только из себя, ибо себя*

ни заменить, ни подменить, ни вытеснить. Два книжных героя моих – Летчик и Буровик жили не на один градус напряженной других по той именно причине, что «ломали», танковой была их дипломатия. Насилием только приключений на задницу себе любимому искать, говоря по лексике таких жестких людей. Знают они это все, испытавши на собственной шкуре. Саваоф же словно смирился с чем-то и согласился, поняв что-то очень важное для себя и решив, наконец-то какой-то главнейший вопрос своей долгой, искривленной бесплодной страстью жизни фанатично верящего в бога человека. Казалось, что легкий по-птичьему муляж его скрестил смиренно желтые руки, а сам дух Саваофа выгорел от жары, многолетней засухи длиною в жизнь. Сушь наступила теперь и в жизни Сени. Каждый шаг его отдавался в висках: бамп, бамп, бамп. Краем уха услышал он, как у одного дома говорят:

– Сектанта хоронят.

А кто-то добавил:

– А этот пьянюшка Сенька что вяжется с богомолами?

Гроб опустили под заученные всхлипывания старух, которые не раз уже примеряли жизнь свою к этой минуте, и что-то скорбное, даже торжественное сквозит в их лицах. Быстро вырос холмик свежей земли над могилой. Внутри у Сени будто сохлось все в камень, спеклось до окалины, и лишь когда «рабу божьему» начали ставить деревянный крест, шальной ветер пахнул на пригорок, как дымом, сухим ароматом полей и пожженных зноем степных трав. Смерть деда, этот порыв ветра что-то прорвали в душе у него. Волна чувств шибанула в нервные центры Сени, сорвала усохшие уже заплоты и плотинки воли, и молодой сосед Саваофа долго давился слезами, оплакивая неосознанно и себя будущего, каким он мог, по его разумению стать, прощелью хоперского и бича. А то б еще и в тюряге сгнил. Ну, отбывал бы. А это не менее страшно.

Отбывание, да в Харпе еще, в известном заполярном лагере для «самых-самых» – это определение человека на выживание. Может быть, оно и полезно это для тех, кто «ОПУХ от хорошей жизни», а для тех, кто и не собирался никогда опухать, каково. «Что из того, что загремел я на Севера эти потому, как Ванька просил достать ему треклятый этот рулон линолеума для его дачи? Что, мама?! То, что живем теперь розно. Тебе не сладко, конечно, ну а мне – слаще? Терпи, может, еще свидимся», – так писал из Харпа матери, соседке моей по подъезду ее «сын Владимир».

Вскоре после этого письма его досрочно выпустили домой умирать: заболел Володя раком. Бледный, как подвальный картофельный проросток, он выходил несколько раз посидеть на скамейке у подъезда. Глядел маловидящими уже глазами на солнце, ласкал рукой придворных наших собак и кошек. И вдруг исчез с местных горизонтов, пребывая дома под опекой полуслепой своей мамы, седехонькой «бабы Альфины». А я писал в эти дни, захлебисто и сумасшедшие, не видя белого света. Когда ж очнулся, мне сообщили, что Володя умер и похоронили его. Так вот и отбыл он свою жизнь. Нет на белом свете теперь и мамы его бабы Альфины. Тюряга ж светить могла Сене за то, что на станции, в пяти километрах от Таловки, ночью сорвал он однажды пломбу с вагона-пультмана, чтобы «позычить» зерна на корм своему ненасытному хозяйству с разъявленными ртами хрюшек, коз и телков, на которых вламывал он как Сизиф-вол. За преступление ж с хищением хлеба на ж/д как миленькому могли впаять Сене 15 лет, и в Харп мог он загреметь... Работа Никиты Долганова на буровой – намного легче, чем эта каторга приймака Сени. Хорошо, что никакого следствия никто не проводил (а может, и обнаружился криминал где-нибудь в Таловой или Хреновой, попробуй пощи теперь «злоумышленника»): та это глушь российская, где Фемиде тыщу лет еще не пивать и варева хорошего не хлебать... И это его-то, скажет Автор, попрекнули свекор со свекрухой раз, когда остался он уже без Наталки, куском хлеба. Тогда-то Сеня и взвился и поселился с детишками в халабудистом жильчишке у спиртзавода. Вся Таловка переживала, как делился Сеня с семейством-стариков, которых тоже убивала горестная смерть Наталки.

Инда слеза иных прошибала: и дедов жалко, и Сеню-бедолагу. И те чуть не ревут, и у него глаза в заморозке. Очень понимали ту и другую стороны этого конфликта. Это ж Русь в недрах своих. Тут боль чувствуют печенками и селезенками, потрошечком каждым, всеми глубинами сердца. Такие, в заморозке, глаза не врут, истина глаголет ими. И как тут не отвлечься на читанное в глубоко болевой книге Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки», из которой выписал я в свою «амбарную книгу» это: «Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза ТАМ. Где все продается и все покупается... глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза... Коррупция, девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья с неутрачивающей заботой и мукой – вот какие глаза в мире Чистогана... Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навывкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Чтобы ни случилось с моей страной. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не моргнут. Им все божья роса...»

Как утята, ходили за Сеней детки-полусиротки, а любили они его безумно, но он им, правда, и пироженки пек сам, и мороженки «по-таловски» сотворял, пока с резьбы не срывался с рюмкой. Сошелся с одной вдовой женщиной он, но три недели пожили они вместе. Только узрел, что в обиде дитенки его остались – вмиг вытурил на хрен зазнобу свою, и большие о близости интимной с кем-то не помышлял до смерти. И не может Автор его попрекнуть за рюмку. Сам-то бы выдержал такую оказию, какую может устроить судьба-индейка любому? Нет утвердительного ответа. Вообще не может его дать человек. Из серии Гоголевских же этот вопрос: «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа!» Да, безответна Русь; и лишь «Чудным звоном заливаётся колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства...»

А дома Сеня до самой полуночи поглядывал на мерцающие во мгле беленые стены избы Саваофа, смутную в ночи в глиняной обмазке своей печную трубу, поблескивающие в темно-синем небе росинки звезд. Представился ему в мгновение струганный белый крест, каким могла завершиться еще более безрадостная, чем у покойного теперь старика-соседа, его жизнь. У Сени мерцательно заколотилось сердце, пустились будто бы в пляс перед его глазами сияющие звезды, словно кто-то могучий трясти стал древо жизни, осыпая их, как яблоки сада, о каком мечтал он в те юные годы, когда отличился в истреблении колорадских жуков. Пульсировали в кровотоке вен Сени такие секунды, которые длинны становятся в эти моменты, как столетия ледящего одиночества, те роковые секунды, когда в одночасье становится человек седым. Как не понять Автору Маркеса с его потрясшим мир романом «Сто лет одиночества»? Потом были «Осень патриарха» и другие. В романах колумбийского писателя мыслящие люди в стране Советов увидели, как в зеркале, собственных командармов развитого социализма. Иначе ж не воспримешь эти строки: «когда его оставили наедине с отечеством и властью, он решил, что не стоит портить себе кровь писаными законами, требующими щепетильности, и стал править страной как Бог на душу положит, и стал вездесущ и непререкаем, проявляя на вершинах власти осмотрительность скалолаза и в то же время невероятную для своего возраста прыть, и вечно был осажден толпой прокаженных, слепых и паралитиков, которые вымаливали у него щепотку соли, ибо считалось, что в его руках она становится целительной, и был окружен сонмищем дипломированных политиканов, наглых пройдох и подхалимов, провозглашавших его коррехидором землетрясений, небесных знамений, високосных годов и прочих ошибок Господа...», карнавал или «спектакль одного актера», «... жизнь превратилась в каждодневный праздник, который не нужно было подогревать искусственно, как в прежние времена, ибо все шло прекрасно в брежневские времена: государственные дела разре-

шались сами собой, родина шагала вперед, правительством был он один, никто не мешал ни словом, ни делом осуществлению его замыслов; казалось, даже врагов не оставалось у него, пребывающего в одиночестве на вершине славы с тонной золота на груди».

«Я могу ведь, могу еще изменить судьбу, – вырвалась из недр его сознания мысль, – по-новому нарезать пласты своей жизни». Созрело в мгновение и решение у него: «Еду завтра утром в контору совхоза и упрошу директора, чтобы взял рабочим в звено полеводов, а вернут права – сяду за трактор. Хватит баклуши бить в городе». И он увидел мысленно, а может, просто почувствовал пока неосознанно, что начала восходить далеко впереди его жизни слабая, как дыхание тяжелобольного после реанимации, забрезжила призрачным светом многоцветная рай-дуга, которая выгнулась к небу над его полем, заново рождавшимся в иссушенной ветрами невзгод, истерзанной его душе.

Автор не знает, по какой причине не было на похоронах отпускника с Северов Никиты Долганова. Может, срочно уехал: бурение – сфера, где много разных неожиданностей и вообще всякой бузы: идеология того дня не всегда шла в параллель, тем более одноруслово, со здравым смыслом. Как, к примеру, эффективнее бурить – семью или четырьмя вахтами? И прочее другое. В любом случае кровь его и сознание напитаны были флюидами жизни Сени, Саваофа, родных ему таловчан. Мысли о страдальческой Сениной жизни вновь колыхнули его душу через несколько лет, когда получил он письмо от него с обжигающими сознание Никиты строками, которые звучали живым голосом таловского его соседа-селянина: «Пишу тебе, дорогой Никита, из лечебно-трудового профилактория, куда определили меня на год. Слава богу, что тебя минула такая судьба, а мне и это придется испытать. Страдаю за детей, как они там ходят по два километра через метели в школу...» Письмо Сени задело самые чувствительные какие-то центры в душе бурового мастера, и ночью приснился ему сон, в фантазмагории которого причудливо излились и отклик его души на вести от Сени, и память о Саваофе и Таловке.

Ощутил себя Никита в стране белых снегов и белых одежд, зацепленной некогда в реплике Саваофа о нем, странновольном отпускнике с Северов, когда рассказывал старик, обращаясь к Сене больше, с которым у него случился спор в вопросах о вере в бога, как тот вочеловечился и создал Адама. И вот идет Никита по клубам снегов-облаков по сумеречно-серебристой небесной равнине. И видит вдруг, что висит в воздухе в полуметре от снежно-облачного покрова гроб, на который, как можно было подумать, действует некто психокинезом, а в нем покоится Саваоф в красивой ночной рубаше из белого холста и в ночном колпаке. Серебристо мерцает соль щетины, проступившая на его лице. Лицо старика умиротворенное, с восковой бледностью.

Неожиданно Саваоф приоткрыл один глаз, живо зыркнул лучом стеклянно-голубого взора в сторону Никиты и сказал ему с радушием как давнему знакомому прежним голосом, какой слышал он от старика в Таловке, пребывая там в отпуске:

– А-а, это ты, отрок! Усоп я, Никита-милок, умер. Но как не глянуть из гроба на мир? О-оо, слышишь, идут!

Загудели и заколыхались снега, и пошли мимо гроба Саваофа тысячеверстным шляхом истории миллиарды людей, машина зла косила их, как тростники, а они шли и шли и, поравнявшись с Саваофом, говорили с эмоцией в голосах: «Вот это герой, нашенький, человеческий, за нас, за людей жизнь положил!» *Прочел в Интернете, что китайская студентка организовала репетицию собственных похорон. 22-летняя Зен Цзя решила на такой необычный шаг, удумав своими глазами увидеть траурную церемонию и насладиться вниманием в качестве виновницы «торжества», пишет Daily Mail. Девонька эта из города Ухань в провинции Хубэй потратила на похороны все свои сбережения. Надо сказать, что церемония получилась пышной – с цветами, фотоаппаратами и толпой посетителей. Мероприятие посетили близкие и друзья «покойной». Зен Цзя даже наняла гримеров, которые сделали ее похожей на настоящий труп. В течение часа студентка лежала в гробу неподвижно, а затем, выслу-*

шав других, поднялась и сказала свою речь. Поблагодарила, наверное за сочувствие. «Меня всегда поражало, почему люди тратят столько времени и усилий на того, кто уже мертв и кто не сможет по достоинству оценить всего этого», – призналась китаянка. По ее словам, она решила организовать собственные похороны, так как хотела насладиться этой церемонией, пока жива. При этом Зен Цзя не сожалеет о сделанном. Такой необычный опыт заставил ее еще больше любить жизнь. «Я нахожусь в прекрасном настроении, после того как выбралась из гроба», – призналась она. Только и скажешь тут голосом незабвенного Анатолия Папанова: «Да уж!»

Восковые веки Саваофа были прикрыты, по лицу его разлилось блаженство, какое мог наблюдать Никита лишь у геолога их УБР Платона, когда упоен был тот собственным оболстительным слогом и витал в трансценденциях экзистенциальной свободы кьеркегоровского толка. Представлял себя равным Богу и в фантазмах видел себя пред ним, когда обращался к нему, устремляясь мыслью на эпохальные свершения: «Благослови меня, коллега!» Потом гроб как бы испарился вдруг, и на его месте увидел Никита мраморный памятник, на котором выбито было золотом палящих букв: «Платон». Сияние их падало на снега, на звезды, доставало какие-то сферы за белесыми их туманностями, и не было предела ненасытной эманации эгоизма, из вещества которого сотворены были эти буквы.

А через сумерки из заснеженных пространств прорывался к Никите, скребся, как мышка, чей-то придушенный голос: «Как вырваться из ЛТП мне, страдают ведь без меня мои дитятки-журавлики! Как они там ходят через метели в школу!»

Разбуженный утром горизонтальными лучами рассветного солнца, скользнувшими по северной равнине его жизни, Никита в постели еще, в командирском своем вагончике на буровой пытается думать, что не случайны эти его видения с Сеней, Платоном и Саваофом. Борения мастера в буче северного бурения, восходящего до голгофы, являют собой жизнь, которую надо прожить достойно несмотря ни на что, ни на какие трудности и сшибки человеческих воль, характеров, желаний и устремлений. «*И если дороже Россия, ее, а не ваша победа, ее, а не ваша слава, ее, а не ваша жизнь, – идите на Голгофу и не ропщите*» (Ю. Слезкин, Брусиллов).

Главное – не счастье искать (оно человека само найдет), а – оставаться самим собой, себя обновлять, не давая душе закиснуть, в мире пребывать со своим собственным «Я», чтобы не угнетало оно мир, как угнетает его самомнение их геолога Платона Другина, возомнившего, что он правее римского Папы в громадном том конфликте по системам организации бурового труда, который захватил большие людские коллективы Приобья. Звучало будто в его сознании велеречиво:

И, умирая, думал он,
Что путь его уже свершен,
Что молодые поколения
По им открытому пути
Пойдут без страха и сомненья,
Чтоб к цели, наконец, придти.

Еще думалось Никите, что неминуемо должна была обернуться драмой и жизнь небесного Саваофа с его половинчатым, ампутированным до отрицания добром. А произошло же это с таловским дедом, безоглядно верившим в небесные потусторонние силы, которые не оставляют места самостоянию человека *но ведь оно-то – лакмусовая бумажка, что проявляет: живой ты или покойник, дохлая рыба, всплывающая брюхом вверх, у той точно уж нету никакого самостояния* хоть и ясно становится не только ученым, но и массам уже широ-

ким, что развившееся из бактерий человеческое вещество в мироздании имеет свой вселенский смысл.

Что же о вселенском смысле человеческого вещества, то его раскусил великий физик. И не мистический он, а обусловленный взаимосвязью протонов и электронов, как гениально просто изъяснил природу Нильс Бор *Нильсушка*, как называл его за великость ума уральский генетик Н. В. Тимофеев-Рессовский. Подхлестываясь, к своему герою, лично я как автор скажу лишь: мир – это сплошные волновые явления и функции, дух, мысль, свет, все это едино. Никита ж углублялся в своих размышлениях во вселенски отчужденного в своем индивидуализме Платона Другина. А так ведь оно случилось у геолога, любившего себя как небожителя. Не горький ли это урок – его жизнь, как прозвучало бы она по лексикону Саваофа. А жизнь Сени, не скорректированная математически-могучею силою высшего разума! С уцербинами были все камни, из которых строили эти вот даже два человека из сонма миллионов жилища духа себе. И стали они темницами для них. Начали заваливаться личные их мироздания.

Никита ощутил вдруг ритмические биения в своем кровотоке, и пришел на душу ему, полился в полусонье его сознания белый стих о солнце, звездах, Вселенной, этом большом доме всего человечества. Больно кому-то и чему-то в нем – больно и каждому человеку. И что тут судить, боже ж ты мой: дом-то жизни этот нашенский!

«Многим из нас надо еще учиться жить в нем», – с озаренностью в сознании подумал урожденный на таловской земле буровой мастер.

«Наша ситуация на этой земле кажется странной, – разъяснял себя и свое кредо Альберт Эйштейн перед членами Лиги прав человека. – Каждый из нас видится здесь недобровольным и незванным гостем, который явился на краткую побывку, сам не зная, зачем и почему. В нашей повседневной жизни мы чувствуем только, что человек находится здесь ради других, кого мы любим, и ради многих других, чья судьба связана с нашей собственной. Меня часто угнетает мысль, что моя жизнь в столь сильной степени базируется на труде окружающих меня собратьев-людей, и я сознаю, насколько глубоко обязан им... Хотя в повседневной жизни я типичный индивидуалист, но живущее во мне сознание к незримому сообществу тех, кто борется за правду, красоту и справедливость, избавляет меня от чувства изолированности... Я смиренно пытаюсь уловить моим разумом простую картину возвышенной структуры всего сущего». К этому добавлю свои собственные размышления. Популярная песня Юрия Антонова «Под крышей дома своего» будит очень сокровенное в каждом человеке. Однако, это лишь часть большого Дома. Сказано у Альберта Эйштейна: явился человек на краткую побывку, сам не зная зачем и почему. Человек – произведение всей Вселенной, это вопросная ее составляющая и надежда увидеть себя со стороны. Другое: человеческое вещество – катализатор цветения всего сущего. Трав, зверей, звезд и галактик. И возвышенную миссию свою исполняет человек в полном объеме, когда осознает он себя не гостем на Земле, не заброшенным на неведомый остров Робинзоном, а хозяином в Доме под звездами. Не ради круга самых близких лишь живем мы, а и ради космического большого. Хасиды трактовали человека как лестницу, «вершиной своей упирающуюся в небо». Ну, вдумайтесь, люди, поймите, что так это, что совсем неспроста озабочен этим автор романа. Ведь можем мы велеречиво (болтологически) возглашать, что век космоса и прочее. А вот до потрошков-селезенок не доходит это. Мозги закрыли для животрепещущей, как выловленная рыба на снегу, истины. Был у меня дома один вельми наполитизированный приятель. Его понять по ряду обстоятельств можно. И то он, объясняя жене резкость восприятия мною изломов и перекосов недавнего социализма, заговорил о том, что «Саиа космополит». Будет не раз еще об этом в романе, только с иной несколько моей ментальностью: космолюдин я. Пропахав с этой мыслью романище свой, полностью ощущаю истину эту текущей в моем кровотоке, в каждом атоме, в протоне и электроны своего существа. И если пел я, общаясь с летчиками «Обнимая небо теплыми руками...», то сейчас не пою, а возглашаю, торсионными всеми вол-

нами Вселенной – что обнимаю мозгом ее. Не думаю, что я одинок в этом. Подспудно, интуитивно такое чувство мира живет если не во всех, то во многих. Так давайте дадим волю осознанию истины, которая заложена в «человеческое вещество» изначально, со времен со времен *ab ovo*, сотворения Мироздания. Вновь и вновь звучит во мне, тюкает в мозжечок этот гениальный стих друга-сокровенника моего, поэта Бориса Авсарагова, когда вопрошал он небо, отворя «полость космоса», и ждал, что

Отзовется космический омут,
Содрогнется структура небес:
– Человека Вселенная помнит
Без него ей какой интерес?

Невозможно больше жить человечеству в автономии панцирного своего существования, когда люди обитают на Земном шарике как бы сами по себе. Но если действует закон «Все в себе», то неумолимо подчиняет себе нашу жизнь и закон «Все во всем». Понять, что человек и человечество больше самих себя – это пролучиться третьим законом «Все из себя». И все встанет на свои места. Нет иного пути к более гармоничному бытию нашему. Не через мозги надо осознать нам это, а через кровь. Ту память, которая генно живет в нас. К тому я клоню, что важно ныне массовое понимание этой проблемы. А пока мы будем жить с заботой о своих лишь улусах, будет досажать нестроение человечеству. Конгресс по климату в Стокгольме подтвердил это. Пожал мир неудачу. Важен настрой единодушия человечества насчет общего нашего дома под звездами. Проникнутся люди мира им – Стокгольм-2, как его можно бы означить, ждет удача. Это будет победа нового мышления, более соответствующего новому веку и новому тысячелетию. Доразъясню свою позицию такой образной ситуацией. Можно представить каждое государство шатром, под крышей которого живет та или иная общность или нация. Но есть еще один звездный шатер у всех. Двувратны мы все в этом, и естественна забота о двух вратах. Человечество на планете Земля – остров в океане Вселенной, и без него невозможно нам себя мыслить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.